

Максим Гуреев

Любовь Куприна

Повесть

18+

Максим Александрович Гуреев
Любовь Куприна

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=66480102

SelfPub; 2021

Аннотация

Повесть о взаимоотношениях Александра Ивановича Куприна с его мамой, Любовью Куприной.

Содержание

1	4
2	22
3	43
4	60
5	80
6	98
7	115
8	133
9	154
10	174
11	192

Максим Гуреев

Любовь Куприна

1

Любовь Алексеевна садилась на кровать, задирала до колен юбку и начинала пеленать ноги стиранными-перестиранными марлевыми бинтами, которые она сушила на батарее парового отопления.

Ноги ее при этом имели пунцовый цвет, словно их долго вываривали в кипятке, а отеки как желе перекатывались от лодыжки к плюсне и обратно, пульсировали, вздувались и можно было подумать, что они живые.

Смотрела на них, шевелила пальцами и вспоминала, как раньше весной специально уходила в лес, знала одно место на опушке, где был большой муравейник, целый муравьиный вавилон, пристраивалась рядом с ним и засовывала в него ноги.

Особенно у Любови Алексеевны отекали ноги во время утренней, которую она отстаивала без движения, разве что кланяясь и крестясь, и когда приходило время подойти к Причастию, то совершенно не могла пошевелиться ногами, которые словно бы прирастали к каменному полу, были прикованы к нему цепями.

Видела в этом знак, конечно, думала, что Предвечный Промыслитель не поверил ее словам, сказанным на исповеди, прозрел ее потаенные мысли – корыстные и тщеславные, не счел достойной причаститься Святых Таин Христовых и теперь подвергает ее испытательным страданиям.

Инстинктивно она складывала руки на груди крестообразно, а из глаз у нее начинали течь слезы.

– Ступай, Любушка, ну ступай же, – подталкивали ее в спину матушки, которые гомонили при этом, насупливались круглыми, словно вылепленными из теста лбами и трясли подбородками.

И тогда она делала первый шаг, за ним следующий, была при этом уверена в том, что тащит за собой всю домовую церковь Марии и Магдалины при Вдовьем доме, что в Кудрине, а ноги ее гудели как Великопостный колокол над всей Кудринской округой.

После окончания утрени становилось немного легче.

Любовь Алексеевну усаживали, и она отдыхала, набиралась сил, чтобы дойти до своей палаты, расположенной этажом ниже домово́й церкви.

Снова и снова мысленно возвращалась она к происходящему с ней всякий раз во время службы, а вернее, во время пения «Причастен», когда на нее наваливалась смертельная усталость, и ноги, налившись свинцом, уже и не принадлежали ей, а были словно исхищены демоном, подглядывающим за ней из-за левого плеча, да подслушивающим ее кра-

мольные думы.

Конечно, слышала, как одна из богомолок, пришедших в Кудрино прошлой зимой, рассказывала, будто видела, как две ноги переходили Язу по льду.

Вертела головой: «нет-нет, не может такого быть!»

Забинтовывала старательно, пеленала ноги словно беспомощных младенцев и чувствовала при этом, как тупая однообразная боль постепенно уходит куда-то в глубину. Не навсегда уходит, конечно, на время, чтобы потом опять вернуться, но сейчас от нее можно было отдохнуть и не видеть уродливых переплетений жил и вздувшихся желваков, венозных стоп и распухших пальцев.

Любовь Алексеевна не выносила вида всяческих уродств, боялась, что сможет заразиться ими, например, что у нее вырастет горб, потому что горбатым был истопник Вдовьего дома по фамилии Ремнев. Вдруг начнет расти, незаметно так, нечувствительно, а поскольку происходить все это будет сзади, на спине, то она и не сразу его заметит, а когда заметит, то есть, ей скажут добрые люди, что у нее вырос горб, то уже будет поздно. Да и не просто горб, а горбище, целая гора, которую во время всенощной настоятель местного домового храма отец Ездра Плетнев назовет Фавором.

И снова вертела головой, закрывала, а потом открывала глаза, трогала себя за лопатки: «нет-нет, не может такого быть!»

Сейчас же Любовь Алексеевна наконец укладывает пере-

вязанные ноги на тумбочку, что стоит у изголовья кровати, и, обращаясь к соседке по палате обер-офицерской вдове Марии Леонтьевне Сургучёвой, продолжает свой рассказ:

– Так вот, муравейник тут же весь и оживал, приходил в движение, можете ли себе представить, сотни, если не тысячи насекомых впивались в мои ножки, но я не чувствовала никакой боли совершенно, разве что покалывание, такое, знаете ли, незначительное покалывание, которое приходится испытывать, когда ненароком угодишь голыми руками в заросли молодой крапивы. Там, в недрах муравейника, происходила, разумеется, полнейшая катавасия, ведь вторжение моих ножек произошло столь неожиданно, столь дерзко, так сказать, что придало обитателям этого лесного вавилона особой ярости. Однако, повторяю, укус муравья целебен при лечении артрита, отеков в том числе и нездоровых сосудов. Муравьиная кислота в том числе используется и для лечения некоторых нервных заболеваний, а мне, знаете ли, и нервы подлечить не помешает. Да-да муравейник изрядно облегал мои страдания. Тут еще важен один момент – необходимо веточкой ли, платком смахивать мурашей, чтобы они не поднимались выше колен и не кусали там, где им кусать не положено...

Прерывает свой рассказ и заглядывает в лицо Сургучёвой, чтобы удостовериться, что она слушает ее.

И что же она видит?

Простодушная Мария Леонтьевна только кивает в ответ,

но при этом занята чем-то совершенно непотребным – скрутив из накрахмаленного угла простыни трубочку наподобие папиросы, она запихивает ее себе поочередно то в левую, то в правую ноздрю.

– Что же это вы, матушка моя, такое изволите делать? – чуть не кричит Любовь Алексеевна.

– Так ведь, душа моя, – не отрываясь от своего занятия, отвечает Сургучёва, – любил мой супруг-покойник Павел Дмитриевич пользоваться нюхательный табак, тоже, кстати, весьма и весьма полезный для здоровья.

Забинтованные ноги тут же и начинают колотиться на тумбочке.

Падают с нее на пол.

Вот так всегда происходило, когда она что-то говорила кому-то, вкладывала душу, рисовала картины яркие, убедительные, а ее, как выяснялось потом, никто и не слушал вовсе. Видела в этом издевательство какое-то и глумление над собой. Однако всякое понесенное надругательство имело многие смыслы, в том числе и искупительные.

Любовь Алексеевна поднималась с кровати и подходила к окну.

Теперь уже и не скажет, когда оказалась здесь впервые, все перепуталось в голове, перемешалось, помнила только, что Сашеньке было четыре года в ту пору.

Их поселили тогда на первом этаже в каморке рядом с привратницей с видом на пруд, за которым начинались вла-

дения Зоологического сада, и откуда часто доносились крики животных. Особенно по ночам это было невыносимо – хохот лис, вой осатаневших от неволи волков, крики сов, некоторые из которых порой залетали во двор Вдовьего дома, рассаживались чинно на скамейках, а также любили заглядывали в окна, в том числе и в то окно на первом этаже, где жила Любовь Алексеевна с сыном. Любопытствовали.

Приставляла к стеклу бумажный образок великомученика Киприана и говорила шепотом, чтобы не разбудить Сашу, «кыш-кыш», но совы не улетали, а с интересом всматривались своими желтыми как газокалильные лампы глазами в изображение седовласого бородатого человека, прижимавшего к груди толстую книгу, строили предположения при этом, вероятно, что могло бы быть в ней написано.

Любовь Алексеевна скороговоркой читала молитвы от нашествия демонов, от искушений бесовских, «Отче Наш» неоднократно и, сама, не понимая как, засыпала, уперевшись лбом в стекло и выронив бумажный образок на подоконник.

А вот на втором этаже Вдовьего дома были уже скошеные к полу подоконники, чтобы на них нельзя было взобраться и выброситься из окна.

Пыталась конечно и ни раз страдавшая нервным расстройством генеральша Телепнева добраться до латунных задвижек на оконных рамах, но всякий раз соскальзывала с подоконника и оказывалась на полу, заходясь в истошном крике.

Иногда Саша мог проснуться посреди ночи, сесть на кровати, на которой он спал вместе с матерью, и начать истошно кричать.

– Это все они виноваты, – грозила Любовь Алексеевна кулаком сидящим за окном совам, что теснились и скреблись когтями по металлическому карнизу.

Хотя конечно никакие совы тут были не при чем, просто Сашеньке приснился сон про деревянную лошадку, о которой он мечтал, но у них не было денег, чтобы ее купить.

Вот он ехал на ней по длинному больничному коридору, крепко держась за черную густую гриву, чтобы не свалиться на пол.

Лошадка поскрипывала и бежала все быстрее и быстрее, а коридор все не заканчивался и не заканчивался.

Саше становилось страшно, потому что он боялся, что они вместе с деревянной лошадкой ударятся со всего маху о стену и убьются, но этого не происходило, потому что с каждым новым шагом лошадки коридор удлинялся, а в самом конце его, почти на горизонте, вдруг начинало засветиться окно. И Саша понимал, что там, за этим окном, находится улица, на которую маменька ему запрещала выходить одному, и на которую так стремилась вырваться деревянная лошадка.

И вот наконец они достигали этого страшного и заветного окна, которое оказывалось открыто. В лицо ударял горячий дух улицы – запахи дегтя и угля, отхожих мест и цветущей сирени, крики лотошников

и продавцов сбитня, визгливый женский смех и яростные вопли ломовых – «поберегись, куда прешь, дубина стоеросовая».

Сашенька прижимался к деревянной лошадке еще крепче, зажмуривался от страха, чтобы не видеть, как на них несется тройка, запряженная взмыленными гнедыми великанами, остановить которых было уже невозможно.

Вот тогда-то он и начинал истошно кричать, потому что понимал, что сейчас его любимая деревянная лошадка погибнет, разлетится на куски, и не останется от нее ничего, кроме густой черной гривы и переломанных, разбросанных по мостовой ножек.

– А вот я всегда говорила, что маленькому мальчику нельзя выходить на улицу одному, потому что он может попасть под лошадь, может заблудиться, а еще его могут украсть нищие и съесть, – вознося палец к потолку, заводила свою старую песню Любовь Алексеевна, которую Саша слышал ни раз. Особенно он недоумевал, каким образом его будут есть нищие, ведь он не ржаная лепешка и не вареная свекла.

Нет, решительно этого не понимал! И в тайне предполагал, что маменька все же ошибается на сей счет.

А еще ему оставалось канючить:

– Жалко лошадку, лошадку жалко.

– Перестань немедленно, противно слушать, ты уже взрослый мальчик...

Любовь Алексеевна стояла у окна и вспоминала те дале-

кие времена.

То есть, в ее воображении это было, разумеется, совсем недавно, почти вчера, когда она после полутора лет проживания вместе со своим сыном в тесной клетушке на первом этаже все же выхлопотала в департаменте просторную палату на втором этаже, в которой и жила по сей день.

– А Сашенька теперь далеко, – произносила полушептом, не желая, чтобы эти слова были услышаны Сургучёвой, но совершенно некстати Мария Леонтьевна откликнулась:

– И мой Павел Дмитриевич нынче тоже далеко.

– Не о том вы, матушка моя, не о том, – начинала кипеться Любовь Алексеевна, – мой Сашенька жив и здоров, а ваш супруг почил о Господе, вечная ему память.

– Все там будем, – глубокомысленно заключала Сургучёва, извлекая из правой ноздри замусоленный к тому моменту словно обгоревшая сальная свеча угол простыни.

Терпела в ответ, делала глубокие вдохи и выдохи, переминалась с ноги на ногу, скользила ладонями по скошенному к полу подоконнику, не имела ни малейшей возможности добраться руками до латунных задвижек на оконных рамах, клацнуть ими, распахнуть окно и вдохнуть свежего морозного воздуха.

Нет, делать это во Вдовьем доме не разрешалось, взамен приходилось дышать мятными благовониями, мастикой, которой раз в неделю натирали пол в коридоре, воском и духом пачули – ровным, дурманящим, вызывающим видения как

вспышки памяти. Галлюцинации.

Например, Любовь Алексеевна очень хорошо запомнила тот день, такой же, как и сегодня, кстати, морозный, ясный, когда они с Сашей только перебрались на второй этаж, дверь в палату с грохотом распахнулась, и дежурная по этажу низким, простуженным голосом пробасила – «Телепнева повесилась». Лицо ее при этом перекосила гримаса то ли ужаса, то ли удивления, она затряслась, заходила ходуном вся, и чтобы никто не увидел ее припадка опроретью бросилась по коридору в сторону процедурной.

В процедурной и повесилась несчастная генеральша. Не найдя возможности добраться до окна и выброситься из него, она свела счеты с жизнью здесь на стальной балке, соединявшей своды потолка.

С тех пор ходить в процедурную, чтобы обмазывать ноги лечебной грязью, Любовь Алексеевна категорически отказывалась.

– Нет-нет, даже меня и не уговаривайте, ведь хорошо помню, как покойница гладила моего Сашеньку по голове и говорила – какой славный мальчик, быть ему юнкером. А потом взяла, да и наложила на себя руки в богоугодном месте. Грех-то какой!

Ноги опять начинали болеть и приходилось возвращаться к кровати.

Прежде чем лечь, Любовь Алексеевна крестила подушку, одеяло, заглядывала под кровать, не притаился ли там

Сашенька, ведь раньше он любил прятаться от нее именно здесь.

Замышлял разбойник следующее – вот входит в палату матушка и видит, что она пуста. Начинает искать сына, выбегает в коридор, кричит, зовет, думает, что он убежал на улицу, но все отвечают, что никто не видел Сашу, который в это время сидит под кроватью и тихонько смеется, закрывая рот ладонями. Ну не разбойник ли? Не храпоидол?

И вот Любовь Алексеевна возвращается в палату и заглядывает под кровать.

Так и есть, Саша спит, свернувшись калачиком, а его правая нога привязана бечевкой к железной ножке кровати, выкрашенной в белый цвет. Сверху же навалены накрахмаленные подушки, одеяла, и можно подумать, что мальчик находится в пещере, где хранятся череп и кости первоотца Адама, или он заточен в чреве кита, как пророк Иона.

Настоятель домового храма Ездра Плетнев имел вид человека безрадостного, уставшего, склонного к апоплексии, а еще он страдал коликами, болями в пояснице и частыми, доводящими до одури головными болями, но служил при этом вдохновенно, преображался с первых возгласов полностью, молодец на глазах. Литургию же любил совершать по монастырскому чину. Такая утренняя длилась дольше чем обычная, и вновь прибывшие насельницы Вдовьего дома с трудом выдерживали ее, а некоторые даже падали без чувств, но потом привыкали и уже не мыслили себе иного богослужения, чем

это.

Неспешное.

Распевное.

Вдумчивое.

Со многими молитвами явными и неявными, слышимыми и алтарными.

Строгое.

При виде Любви Алексеевны и Саши, подходящих под благословение, отче Ездра близоруко щурился, на бледном лице его обозначалось подобие улыбки, знал, что сейчас матушка начнет ему рассказывать о своих видениях.

Так оно и выходило на этот раз.

– Вчера, находясь в департаменте с хлопотами об изменении нам с сыном условий проживания, мне явился мой покойный супруг Иван Иванович Куприн, коллежский регистратор, человек в высшей степени достойный и благородный.

Как и положено чиновнику его должности, он сидел за отдельным столом и занимался делопроизводством. Не поднимая глаз, он поинтересовался, чем может быть мне полезен. Увидев перед собой своего законного супруга, отошедшего ко Господу три года назад, я впала в полнейшее умоисступление и паралич, не умея связать двух слов. Просто онемела совершенно, боясь, что сие видение сейчас же при мне исчезнет, рассыпавшись в полный прах, превратится в пустоту, в ничто, и нервы мои, и без того ослабленные и не вполне

здоровые просто не выдержат такой трансформации. Обратив внимание на мое замешательство, Иван Иванович ласково осведомился, принесла ли я все необходимые для ведения дела документы. Я безмолвно протянула их господину Куприну, лицо которого в ту же минуту лицо заострилось, став таким, каким оно было у него, когда он лежал в гробу, выразило крайнюю озабоченность и помрачение.

После непродолжительного молчания в наступившей тишине Иван Иванович возгласил громко и резко:

– Как же это ты, матушка моя Любовь Алексеевна, подаешь документы в департамент, учреждение государственное, не терпящее небрежения, с грамматическими ошибками. Изволь забрать, исправить их и передать в экспедицию надлежащим образом.

Я горько зарыдала тогда, а господин Куприн вернулся к своим делам, не удостоив меня даже и взглядом...

– Да, изрядная конфузия вышла, – произнес отче Плетнев, завертев при этом бородой, словно вышел из короткого забытья, а все рассказанное ему только что произошло в каком-то полусне, – и что же было дальше?

– Вернувшись домой, – продолжила дрожащим голосом Любовь Алексеевна, – я исправила досадные ошибки, в чем мне оказал помощь наш письмоводитель по фамилии Достовалов, и на следующий день отнесла документы в экспедицию, где они теперь и дожидаются своего часа.

– И правильно сделала, раба Божия, – проговорил батюш-

ка, погладив при этом по голове Сашеньку Куприна, – то было видение указующее. Супруг ваш покойный явился вам, чтобы решение дел государственных, связанных с департаментом и гербовыми бумагами совершалось по существующему постановлению, и как человек благородный предостерег вас таким образом от нарушения закона.

– Значит, это было не бесовское примышление?

– Упаси Бог, – встрепенулся Ездра.

Любовь Алексеевна крепко прижимала Сашу к себе:

– Вот видишь, сынок, твой папенька заботится о нас на небесах.

Эту фразу Саша часто слышал от матери, но никак не мог уяснить, каким образом его папенька Иван Иванович Куприн, которого он и не помнил толком, мог сидеть на небесах. Конечно, особенно перед дождем Саша видел огромные клокастые тучи – страшные и черные, в которых, видимо, и находился его отец, но когда дождь заканчивался, и выходило солнце, то на небе не оставалось и следа от грозových облаков. А как можно было находиться в этой прозрачной и пустынной синеве, сидеть за столом или на диване, например, было совершенно непонятно.

Потом они шли с маменькой по длинному коридору, тому самому, который постоянно снился Саше, подходили к окну, смотрели на Кудринский сквер, и Любовь Алексеевна обещала своему сыну, что если он будет себя хорошо вести, то они обязательно пойдут туда гулять.

– Будешь себя хорошо вести?

– Буду, – кивал в ответ Саша.

– Не будешь больше прятаться от меня под кроватью?

– Не буду, – мотал головой в ответ мальчик.

И вправду под кроватью Любовь Алексеевна уже давно никого не обнаруживала.

Она ложилась и с головой накрывалась одеялом.

Ноги давали о себе знать – переливалось внутри них что-то обжигающее, а когда хотелось пошевелить пальцами, то стопа коченела от боли, словно ее зажимали железными клещами, такими, какие были изображены на иконе Сошествие Спасителя во ад.

Любила подходить к образу, висевшему в правом приделе домово́й церкви Марии и Магдалины, и смотреть на черную, перечеркнутую гробовыми досками бездну, из которой вылетали гвозди, молотки, сбитые замки и вот эти самые клещи.

Думала, неужели они могут приносить такие страдания?

Сашенька тоже смотрел на эти гвозди и молотки, выглядывая из-за спины матери, но думал совсем о другом, о том, что с их помощью можно починить деревянную лошадку, сколотить ее обратно – ножки прибить к туловищу, голову к длинной шее, хвост и гриву привязать, потому что без них лошадка будет ненастоящей. Более того, он даже знал, кого об этом можно попросить – горбатого истопника Вдовьего дома Ремнева.

Вот нравился этот горбун Саше, ну что тут поделаешь! Наверное, потому что из-за своего увечья он был с ним почти одного роста, и мальчику не приходилось, как водится, запрокидывать голову вверх, чтобы видеть вырастающие до самого потолка острые очертания рук, ключиц и подбородка, если он, конечно, не скрыт бородой.

Любови же Алексеевне Ремнев не нравился, потому что он был уродлив, и она очень боялась, как бы он не заразил он своим уродством ее и Сашеньку, который к ужасу Любови Алексеевны научился изображать старенького горбуна – шаркал ногами, выворачивая ступни, заикался, попукивал, кривлялся, но смотрел при этом исподлобья по-взрослому хитро, то есть понимал, что безобразничает и доводит мать тем самым до белого каления.

Однажды в конце августа, как раз накануне своего дня рождения, на который Любовь Алексеевна наконец пообещала сводить своего сына в Кудринский сквер и купить ему там леденцов, которые продавали с лотков развеселые мужики-горлопаны, произошло событие, после которого стало ясно, что Сашенька просто неуправляем и подлежит самому строгому из всех возможных наказанию.

В то утро Любовь Алексеевна в очередной раз отправилась в департамент по своему делу, которое, по словам одного кабинетского регистратора, получило движение «наверх» и потому требовало к себе особенного внимания, а от заявителя особого искательства.

Оставшись один, Саша долго сидел на кровати, свесив ноги, которые не доставали до пола, болтал ими до изнеможения, чтобы хоть таким образом отогнать от себя мысли о чем-то дурном. Разве что изредка он посматривал на окно, к которому, по рассказам маменьки, по ночам прилетали желтоглазые совы.

Наконец дурные мысли брали верх, и он решился подойти к нему, чтобы увидеть залитый солнцем внутренний двор Вдовьего дома с его полуобморочными кривоватыми деревьями и выгоревшими на солнце скамейками.

Знал, что совершает недозволенное, но все же залезал на подоконник.

Еще какое-то время сидел на нем неподвижно, переводя взгляд с бумажного образка великомученика Киприана на латунные задвижки на оконных рамах и обратно.

А потом все происходило само собой.

Саша просто открывал окно и сразу же оказывался в своем первом самостоятельном путешествии, о котором мечтал и которое снилось ему ни раз, в странствии по душной духоте двора, дремотную тишину которого нарушали разве что приглушенные крики животных из Зоологического сада, выходил на берег пруда, и наконец, погружался в сам пруд, переплывая который, мог без билета попасть в зоосад.

Рассказ о происшедшем Любовь Алексеевна слушала с закрытым ладонями лицом. Ей виделось, как ее мальчик захлебывается в пруду, ведь он не умеет плавать, как дикие

звери, выбравшись из своих клеток, терзают его тело, как он попадает под лошадь на Садовой, а ломовой извозчик, не разобрав, что перед ним ребенок, орет на него что есть мочи и лупит его ногойкой. А еще ей представлялось лицо покойного супруга Ивана Ивановича Куприна, у которого от всякого безобразия и нарушения порядка на лице случался нервный тик, что означало крайнюю степень его раздражения, от которой было недалеко и до апоплексического удара.

И тогда, не говоря ни единого слова, Любовь Алексеевна брала Сашу за руку, подводила к кровати и привязывала бечевкой его правую ногу к железной, выкрашенной белой краской ножке кровати.

2

На пустой железнодорожной платформе стоит молодой офицер.

Чувствует он себя прескверно, его мутит от последствий бессонной ночи, которую он провел в не имеющих конца и смысла разговорах о гарнизонной службе, юнкерских выходах, загулах начальства и карточных долгах. В его голове еще грохочут колеса на стыках, а сполохи пристанционных огней еще несутся по лицам уже несуществующих его собеседников.

Например, вот этого – говорящего скороговоркой с покашливанием, у него серое испитое лицо и вспотевший лоб, который он постоянно протирает несвежим носовым платком.

Или вот этого – имеющего внешность азиата и совершенно неподвижные, остекленевшие глаза, словно бы он, говоря с попутчиками, пребывает в иной реальности, отчего становится как-то не по себе.

И наконец вон того – отрекомендовавшегося как майор Ковалёв, но так как он сидит у самой двери, то в несущиеся по стенам купе потоки света попадает только его вечно открытый рот, как это бывает у людей, страдающих сильнейшим насморком. Из этого рта-пещеры доносится храп вперемишку с разрозненными словами, как барабанная дробь,

как грохот картечи, как кляцанье ружейных затворов.

У него нет носа и глаз.

«Забывать, забыть все это», – говорит офицер сам себе и оглядывает станцию, на которую прибыл.

Впрочем, всё ее изображение умещалось у него под ногами – дощатый перрон и отраженное в громадной луже перевернутое каменное здание вокзала с часами на фронте.

Время уходило.

А еще на станции, как водится, стоял терпкий запах угля и креозота, и прошедший только что дождь усиливал зловонные испарения, которые вызывали приступы тошноты.

Хорошо, что они повторялись волнообразно, это давало возможность отдышаться.

И тогда офицер делал глубокие вдохи и выдохи, вдохи и выдохи.

Это помогало.

Озноб проходил.

Испарина выступала на лбу.

Облизывал языком пересохшие губы.

При этом с привокзальной площади как ни в чем не бывало доносились крики и смех, визгливое пение и ругань грузчиков.

Далекие неразборчивые голоса, эта ожившая какофония, плыли в спертom пристанционном воздухе, делая ощущение одиночества и пустоты объемным и непреодолимым, потому что оно было разлито во всем – в рельсах, уходящих за

горизонт, в чахлах, закопченных деревьях, в покосившихся сараях, окутывало как густой туман, выбраться из которого в неизвестной местности было невозможно.

«Вот ведь как, всюду жизнь», – усмехнулся про себя.

Дело в том, что молодой офицер получил назначение в 46 Днепровский полк и прибыл к месту назначения в Богом забытое местечко на юге России как раз накануне своего двадцатилетия.

«Угораздило», – усмехнулся снова.

Вспомнил, как в детстве, когда еще вместе с маменькой жил во Вдовьем доме на Кудринской в Москве, он мечтал о леденцах, которые продавали лотошники-горлопаны в сквере напротив, и куда его обещала сводить его маменька – Любовь Алексеевна на его день рождения. Но поход тогда так и не состоялся, потому что накануне он совершил преступление, за что и был наказан.

Невольно совершил, по недомыслию, но совершил.

– Подпоручик Куприн, выйти из строя!

Офицер К выходил на привокзальную площадь, и его сразу окружали местные евреи с предложениями комнаты недорого, женщины на ночь тоже недорого, а грузчики были готовы за 5 копеек донести его на себе, куда требуется, потому что «по нашей грязи их благородию ходить никак не можно».

Да какое уж тут «ваше благородие», когда на плацу перед всем строем раздалось громоподобное:

– Трое суток ареста за нарушение внутреннего устава.

- Есть трое суток ареста за нарушение внутреннего устава.
- Встать в строй.

Однокашник по Александровскому военному училищу Илья Силаев, получив трое суток гауптвахты, заболел нев-растением, впал в тоску и был отчислен из учебного заведения по состоянию здоровья.

Куприн потом как-то встретил его на Тверской и не узнал. От бывшего юнкера не осталось и следа, на него смотрел обрюзгший неопрятно одетый господин с красным венозным лицом и напоминающей жидкие заросли репейника бородкой: «вот видишь, какой я теперь стал, Саша... хотел тут недавно застрелиться, да пистолета под рукой не оказалось, видать, не судьба».

«У каждого своя судьба, Илюшенька», – мысленно отвечал Силаеву офицер К, стоя сейчас посреди привокзальной площади, в гуще разношерстного люда, смотревшего на него с недоумением и завистью, недоверием и уважением.

Пытался вспомнить, сколько показывали часы на здании вокзала, потому что понимал, что время уходило, но так как видел только их перевернутое отражение, а головная боль по-прежнему не отпускала, то никак не мог сообразить, какую стрелку следовало считать минутной, а какую часовой, как совместить происходящее сейчас с тем, что было с ним еще совсем недавно в Москве.

Особенно остро под этими скользящими взглядами на пристанционной площади, больше походившей на разъез-

женную телегами поляну, почувствовал жалость к самому себе. Как тогда на плацу во время объявления приговора, когда все смотрели не на него, а сквозь него, потому как его судьба в тот момент была уже решена, и он относился к числу «потерь», которые отныне составляют заботу полкового священника и похоронной команды.

С трудом сдерживал себя, чтобы не заплакать.

Вот и сейчас все смотрели сквозь него, а свои сомнения, свою зависть или даже уважение относили к какому другому, выдуманному ими подпоручику, которым Куприн на самом деле и не был.

Презирал жалость, по крайней мере изо всех сил уверял себя в этом, но в то же время испытывал к ней интерес, своего рода любопытство как к сильному чувству, которое всегда имело над ним власть.

«Как же все однообразно», – подумалось.

Ровно эти же чувства испытал, когда маменька привязала его к кровати и пригрозила, что если он отвяжет бечевку и убежит, то она его перестанет любить. Жалость к самому себе тогда поглотила его полностью, он давился ей как слезами, которые пытались выбраться откуда-то из горла, из его глубины, где, скорее всего, и прятались до поры. Рвались наружу! А сладкие леденцы в форме петушков таяли на глазах и превращались в бесформенные комья сахарной жженки...

– Извольте, господин подпоручик, тут недалеко, в самой, так сказать, непосредственной близости. Барышня она обра-

зованная, из хорошей семьи, имеет французское имя Клотильда и владеет в совершенстве, поверите ли, некоторыми французскими выражениями. Прошу вас следовать за мной. Берегите ноги, берегите ноги, умоляю. Городок наш убог, что уж и говорить, не сравнить со столицами, но в своем роде оригинален и даже имеет некоторые достопамятности, в их числе назову заведение «у Шимона», которое прошу покорно посетить, тут самые известные на весь Проскуров горячие и холодные закуски. Как славно, что вы к нам пожаловали, господин подпоручик... А вот мы и пришли, – проводник, чья сутулая спина и узкие плечи, по которым безразмерный лапсердак съезжал почти до земли, сделал несколько весьма неуклюжих прыжков через переполненные жижей канавы и замер на месте, указывая на одноэтажный довольно опрятный деревянный дом, расположенный в глубине двора, над которым горой возвышалась железнодорожная насыпь.

– Сейчас курьерский из Санкт-Петербурга проследует, – заулыбался проводник и стал изображать из себя семафор, поочередно поднимая и опуская правую и левую руки, – красный свет, зеленый свет.

Причем, правая рука его было скорее протянута для вознаграждения, нежели для воображаемого регулирования движения на всех парах несущегося состава.

«Заслужил стервец, не утопил по дороге в грязи, не обворовал, не завел в дебри на расправу к станичникам!» – нельзя с этим не согласиться.

Офицер К вошел в прихожую и сразу же узнал ее, хотя никогда раньше тут не был. Это было узнавание запахов – мятных благовоний, мастики, который натирали пол, пудры, воска и ровный дурмящий аромат пачули.

От них, знакомых еще с детства, стало удивительным образом спокойно, словно бы и не уезжал никуда, а раздавшийся за окном протяжный гудок курьерского поезда стал лишь отголоском гула московской улицы.

После Вдовьего дома на Кудринской стараниями матушки Саша оказался в Разумовском сиротском пансионе для малолетних сирот чиновников, умерших от холеры, что на Яузе. Тогда-то он и узнал, что его отец Иван Иванович Куприн скончался от холеры, хотя впоследствии Любовь Алексеевна по большому секрету поведала сыну о том, что его убили во время холерного бунта, о чем якобы рассказал сам покойный супруг, явившись ей во сне, причем, во всех подробностях рассказал.

Саша конечно выпытывал про подробности, чтобы их запомнить, а потом и записать на первом попавшем под руку листке бумаги.

Любовь Алексеевна же сначала отказывалась, говорила, что ей может сделаться дурно от подобных воспоминаний, даже закатывала глаза, но потом все-таки соглашалась:

– В тот день, Сашенька, твой покойный батюшка работал в канцелярии Спасской больницы, когда туда ворвались бунтовщики и потребовали от него выдать им деньги, кото-

рые, по слухам, в больнице хранил городской мировой съезд. Иван Иванович объяснил им, что никаких денег в больнице нет, и они напрасно теряют время. Тогда один из разбойников по фамилии Анисимов ударил Ивана Ивановича и потребовал выдать деньги немедленно, угрожая лютой расправой. Лицо Анисимова при этом исказила судорога, глаза его налились кровью и сделались разными – правый огромным как тарелка, а левый – узким на азиатский манер и стеклянным – такого, знаешь ли, матового стекла, запотевшего, сквозь которое ничего не видно. Соблюдая спокойствие, Иван Иванович повторил, что никаких денег в больнице нет, и он просит всех немедленно покинуть канцелярию. Тогда Анисимов в бешенстве оттолкнул Куприна и начал крушить шкафы и разбрасывать по комнате важные государственные бумаги, надругаться над ними, рвать и топтать. К нему присоединились его подручные, и вскоре канцелярия была разорена полностью. Однако денег нигде не было.

Иван Иванович, сказал мне, что видел в ту минуту перед собой беснование совершенно отчаянных и по-своему несчастных, униженных людей, которые сами не ведают, что творят, движимые обидой и глухой злобой.

Меж тем нетронутым погромом остался стол, за которым сидел мой покойный супруг. И кто-то из разбойников, предположил, что деньги находятся в ящике этого стола.

На требование Анисимова немедленно открыть ящик Иван Иванович ответил отказом, ведь в нем лежали его лич-

ные вещи, и увидеть их разброшенными и поруганными этими безумцами было абсолютно недопустимо. А дальше произошло ужасное... – на этих словах Любовь Алексеевна начинала плакать, и Саше приходилось лишь догадываться, что разбойники убили папеньку, так и не найдя в его столе никаких денег, но лишь фотографические карточки семьи Куприных, старые газеты и несколько долговых расписок...

Офицер К знал, конечно, что ровный, дурманящий запах пачули вызывает видения как вспышки памяти, как высвет старых, пожелтевших от времени картинок, как оставленные заметки-мемории в блокноте, который он всегда держал при себе и при первой возможности заносил в него мысли, делал зарисовки нравов, наброски портретов.

Александр Иванович вошел в гостиную, посреди которой на стуле сидела Клотильда, о которой ему говорил его проводник.

Поклонился, она тоже ответила полупоклоном.

Описал ее для себя так: у нее были зеленые глаза, близко посаженные к носу, высокий лоб, туго собранные на затылке темные волосы, узкие скулы и острый подбородок, отчего казалось, что ее нижняя челюсть несколько выдается вперед, и даже когда она молчала, возникало ощущение напряжения, будто она собиралась сказать что-то резкое, бестактное, но не пожалеть об этом, а напротив громко и с вызовом рассмеяться, у нее были худые, исполосованные жилами руки, которых она стеснялась и потому прятала их в склад-

ках платка, накинутого на плечи, она постоянно трогала языком сухие карминовые губы, сутулилась, щурилась, переводя взгляд с шевелящегося на коленях платка, на кончики туфель, которые выглядывали из-под юбки, в ней было что-то восточное и потому тягостное, требующее постоянного напряжения, не позволяющее запросто начать никчемный разговор, но и молчать в ее присутствии было невыносимо, она была совершенно не похожа на Клотильду, как ее рекомендовал проводник, потому что это имя имеет в себе что-то цирковое, театральное, а ей была чужда всяческая театральность, вычурность и поза, ей претили маски, которые нужно примеривать в зависимости от обстоятельств, например, сейчас, когда ей следовало бы выказать любезность, начать улыбаться, говорить соответствующие слова пусть даже и на французском языке, но ничего этого она не делала, казалось, что она была несчастна, что много страдала, о чем говорили морщины в уголках ее глаз, один из которых, скорее всего, правый мог иногда и дергаться в нервном тике.

– Позвольте полюбопытствовать, что вы записываете? – по-детски наивно проговорила Клотильда, совершенно не скрывая своего любопытства, она даже перестала теревить руки под платком, склонила голову набок, как бы присматриваясь, примериваясь, так, кстати, часто делала Любовь Алексеевна, когда собиралась поговорить с сыном по душам,

– Набрасываю ваш портрет, записываю первые впечатления от встречи, чтобы не забыть. Хотите прочитаю?

– Прочитайте, – улыбнулась Клотильда, и сразу резко распрямила спину, будто приготовилась услышать о себе что-не нелицеприятное, дабы всем своим видом, всей своей статью дать отпор неправде, могущей прозвучать в ее адрес.

«У нее были большие зеленые глаза, близко посаженные к носу и высокий чистый лоб», – начал подпоручик Куприн.

Он совсем не понимал того, что читает, хотя это и было написано им несколько минут назад, он слышал только свой голос, громкий и неприятный, ощущал в этом какую-то неловкость, ждал, когда же наконец закончится эта мука, на которую он сам себя и обрек, но чтение все продолжалось и продолжалось, а в голове возникали новые строки, которых не было на бумаге, но их появление было естественным как дыхание, исходившее из открытого рта.

«Как барабанная дробь, как клацанье ружейных затворов, как хрипение безносого майора Ковалева из ночного поезда» – пронеслось в голове.

Меж тем описание Клотильды все более и более превращалось в поток слов и фраз, к ней напрямую уже и не относившихся. На ходу Куприн вымарывал карандашом написанное раньше и в промежутках между строками вставлял слова, а порой и целые предложения, которые могли прерваться в самом неожиданном месте, потому что мысль мерцала, терялась, а на ее место приходила другая, но и она тоже была недолговечна.

Конечно унижался перед собственным голосом, пытал-

ся ему польстить, угодить, чтобы произносимое им соответствовало его громовым раскатам, его командирскому величию, исходящему из преисподней, хотя в глубине души находил его скрипучим и недостаточно мужественным.

Способность терпеть унижение офицер К унаследовал от маменьки.

Он ни раз был свидетелем того, как она упрашивала дежурную в трапезной не лишать ее добавки к обеду, как умоляла отче Ездру Плетнева истово, именно истово молиться за нее и ее маленького сына-сироту, как унижалась в департаменте, принимая оскорбления как должное и даже желанное, как учила его искать выгодных знакомств и трепетать в присутствии начальства.

И он тоже унижался, когда просил маменьку простить его и купить ему сладких леденцов, потому что не может без них жить. Говорил елейным голосом, что будет ее слушаться, и просил не привязывать его бечевкой к ножке кровати.

Но нет, не простила тогда Любовь Алексеевна его преступления!

Не поверила его сладким речам!

Вопреки всем опасениям Клотильда внимательно прослушала все чтение, и когда оно закончилось, после некоторого недоуменного молчания спросила, что же за преступление он совершил.

Юнкер К – преступник.

Юнкер К – нарушитель существующих правил.

Юнкер К должен искупить вину самым строгим наказанием.

А ведь это был абсолютно невольный проступок, в котором Саша и не был виноват вовсе. Все дело в том, что многие питомцы Александровского училища занимались сочинительством, читали друг другу стихи собственного сочинения, прозаические этюды и даже имели возможность публиковаться в еженедельных журналах, но происходить это могло только с разрешения начальства.

С рассказом Куприна о несчастной любви провинциальной актрисы Евлалии Нестериной вышла некрасивая история. Его долго не хотели брать ни в один журнал, требовали внести глупейшие правки, буквально издевались над юным автором, унижали его мелкими придирками, а потом вдруг взяли и напечатали, не поставив юнкера Куприна в известность. О публикации, разумеется, тут же узнали в училище. Скандал, что и понятно, разразился нешуточный. Попытки Саши что-то объяснить и оправдаться не имели успеха. В результате он получил трое суток ареста за нарушение внутреннего устава.

Стоял тогда на плацу перед строем и чуть не плакал.

– Нет, а мне никогда не бывает себя жалко, – Клотильда встала со стула и осторожно, будто боясь поскользнуться, прошла в спальню.

Шла по осенним листьям, шелестела как шептала, и хлопковые ткани тоже шелестели вслед, стелились по полу, пови-

сали на спинках кресел и стульев, занавески двигались под действием сквозняка, шла и шевелила губами, но не произносила при этом никаких слов, а тени скользили по стенам бесшумно...

Хорошо помнил, как скользил по замерзшей Яузе в ту первую зиму, когда освободился от маменькиного надзора.

Падал, поднимался, вновь скользил вдоль берегов, кричал от счастья, ел снег, залезал в сугробы с головой, показывал сам себе язык.

В сиротском пансионе царила относительная свобода, и Саша сразу почувствовал это. Например, хромого воспитателя Савельева здесь не боялись и за глаза называли Крокодилом, а когда он шел по коридору, переваливаясь с боку на бок, заложив руки за спину, вертя головой в разные стороны, прятались от него кто под кровать, кто в бельевой шкаф, кто под лестницу, а кто просто ложился на кровать, закрывал глаза и делал вид, что спит.

«Послушные детки, послушные», – бормотал Савельев, но как только он закрывал дверь в комнату, тут же все сразу и «просыпались», выходили из своих укрытий, хохотали, радовались, что им так просто удалось обвести Крокодила вокруг пальца.

На следующее утро офицер К прибыл в расположение полка, где и обнаружил, что у него пропал блокнот.

Все то время, пока представлялся командиру полка Петру Лаврентьевичу Байковскому, человеку угрюмому и немно-

гословному, а также оформлял бумаги в полковой канцелярии, думал о том, зачем Клотильде понадобилось забирать с собой его записную книжку. Слова «красть» подпоручик Куприн нарочито избегал, ведь были же у него и ценные вещи, деньги в конце концов, но с уходом Клотильды утром, когда он еще спал, пропал именно блокнот.

– Да у вас, подпоручик, новолетие, юбилей как никак, – раскатилось по канцелярии, – предлагаю отметить, ну и за знакомство, все-таки теперь сослуживцы.

Саша вздрогнул. Из-за стола, протягивая руку, к нему поднимался рослый, широкоплечий офицер:

– Позвольте представиться, штабс-капитан Рыбников. Алексей Рыбников!

Куприн протянул руку для взаимного приветствия:

– Почту за честь, – проговорил сдавленно и тут же сконфузился, поняв, что произнести это надо было по-другому – бойчей что ли, уверенней, а вышло как-то робко и беспомощно.

– Ну вот и славно, – улыбнулся Рыбников, – есть тут одно неплохое место, «у Шимона» называется, там нашего брата боятся и уважают, а народ собирается разный, местный «высший свет» в том числе, если такое вообще возможно в этом захолустье.

Саша поднял глаза – со стены на него с усмешкой, исподлобья смотрел государь Александр III. Спокойное, сосредоточенное выражение лица его гипнотизировало, лиша-

ло воли, останавливало течение всяческих мыслей в голове, оказывалось тем самым командным голосом, перед которым хотелось унижаться, искать расположения или испрашивать благословения.

Это был тот же самый взгляд, которым самодержец в свое время окидывал Московский гарнизон и юнкеров Александровцев, выстроившихся на пути его следования в Кремль.

Он видел всех и каждого. По чьим-то лицам мазал взглядом небрежно, а в чьи-то пристально вглядывался. Делал в этом случае духовому оркестру знак, чтобы он перестал играть, и в полной тишине смотрел в глаза неизвестного ему человека, как будто хотел всмотреться в самую его суть, в самую глубину его, извлечь на поверхность сокровенные думы, выпытать из него все.

Ужас ощутил низкорослый, большеголовый юнкер в очках, кровь ударила в голову, холод поднялся откуда-то из глубины живота, когда понял, что именно он является предметом подобного августейшего препарирования. Да-да, был совершенно уверен в том, что государь остановил свой взгляд на нем, и не смел смотреть в ту сторону, где остановился царь.

И это уже потом, вернувшись в казармы, юнкер Саша Куприн записал в блокнот о себе в третьем лице – «он упал на мостовую и зарыдал, не имея более сил сдерживаться, товарищи бросились к нему, но он продолжал кататься по земле, бормоча слова благодарности и признательности тому, кто

смотрел на него сейчас пристально и безучастно, он отбивался от помощи пытавшихся его поднять на ноги друзей, грызался, молил оставить его в покое, потому что испытывал в эту минуту наивысшее блаженство сердечного умиления и не имел сил и желания прерывать его, пусть и став таким образом посмешищем для всех Александровцев, тут же заиграл духовой оркестр, видимо, чтобы как-то сгладить неловкую паузу, а он затих, слушая эту бравурную музыку, и так продолжал лежать на мостовой, не чувствуя ни холода, ни боли, потому что, падая на землю, разбил себе лицо, и один его глаз заплыл».

Куприн перевел взгляд с портрета Александра III на улыбающегося штабс-капитана Рыбникова, он что-то говорил ему и при этом активно жестикулировал, затем стал смотреть на подоконник, на котором стоял графин с водой, и наконец на карту местности, прибитую к стене и напоминавшую застиранную столовую скатерть в разводах пролитого на нее соуса и красного вина вперемешку с фрагментами вылинявшего орнамента. По этой скатерти можно было водить указательным пальцем, пытаясь разобрать нечитаемые названия населенных пунктов или сориентироваться на местности.

Вчера подпоручик К стоял на пустой железнодорожной платформе, думал, куда ему идти, делал первые шаги, блуждал в густом тумане, который клубился после дождя, а на пути попадались только рельсы, уходящие за горизонт, чахлые, закопченные деревья, покосившиеся сараи, угольные скла-

ды, да красного кирпича здание вокзала. Нет, не узнавал эту местность, конечно, не понимал, как из нее выбраться, хотя на карте она и была отмечена в масштабе две версты на дюйм.

А тут вдруг выяснилось, не без Рыбникова, конечно, что заведение «у Шимона», куда направились из полковой канцелярии, находилось как раз недалеко от железнодорожной станции.

– Тут все рядом, городишко-то маленький!

По дороге штабс-капитан рассказывал о себе. Был он родом из Оренбурга, где по завершении Неплюевской военной гимназии был зачислен в полк. Довелось послужить на Кавказе, и вот теперь переведен сюда. Полковой быт, который он описывал с иронией, по его словам, сводился к кутежам и лихим выходкам господ офицеров, после которых как правило либо отправляли на гауптвахту, либо увольняли в запас. Второе было менее предпочтительно, потому как навсегда лишало возможности продолжать ходить между жизнью и смертью за казенный счет.

– Между жизнью и смертью? – переспросил Куприн.

– Да, смею заверить вас, смертоубийства разнообразят рутину гарнизонной жизни. Будоражат кровь. А вопрос, «кто будет следующим», дает сильнейший стимул к успешному прохождению службы.

– И вам приходилось в этом участвовать?

– Неоднократно. Не далее, как на прошлой неделе стре-

лялись в Березуйском овраге, это в двух верстах от города. Поручик Панин – наповал, я был его секундантом, а его зави сейчас под трибуналом.

Куприн слушал Рыбникова, и в его воображении рисовалась картина безрадостная, сродни той, что он уже ни раз мог видеть и раньше, когда, освободившись от условностей и правил, как он от строгого надзора маменьки, некто испытывает от нахлынувшей на него свободы те же мучительные чувства, что и при ее отсутствии. Скука от возможности позволить себе все оказывается невыносимей запретов и ограничений, которые есть хотя бы возможность обойти.

Итак, опасность противостоит беспечности.

Беспечность суть безразличие.

Безразличие есть отрицание жизни.

Отрицание жизни сродни лицедейству, когда уже невозможно понять, кто ты есть на самом деле, и тебя как бы уже и нет, но есть «он», ты в третьем лице, за которым кто-то наблюдает со стороны, не испытывая к нему ни жалости, ни сострадания.

Актер Проскуровской антрепризы Моисей Приоров, завсегда еврейского заведения «у Шимона», так описал произошедшее в тот вечер:

– Он вошел в зал в сопровождении известного местного дуэлянта и скандалиста штабс-капитана Рыбникова. К тому времени в заведении было несколько компаний, весьма, надо заметить, бурно проводивших время. Заметив меня, Рыб-

ников, так как мы были с ним давно знакомы, пригласил к их столу и представил своего приятеля подпоручика Александра Ивановича Куприна, прибывшего для прохождения службы в наш 46 Днепровский полк. Мы поздоровались. Завязался разговор, но, когда выяснилось, что я актер, лицо подпоручика неожиданно побледнело, а взгляд его стал напряженным и недружелюбным. Я отнес это на счет большого количества выпитого моими собеседниками и хотел продолжить нашу до того момента непринужденную беседу, но месье Куприн прервал меня и сообщил, что не желает находиться за одним столом с лицедеем, потому что его матушка – Любовь Алексеевна или Александровна, сейчас уже и не скажу точно, считала актерскую профессию бесовской, а самих актеров прислужниками сатаны. Я попытался возразить подпоручику, но это вызвало еще большую его ярость. Подпоручик вскочил из-за стола и бросил в меня тарелку. Я был вынужден ответить. В завязавшейся потасовке я оторвал погон на правом плече Куприна, за что он вызвал меня на дуэль на пистолетах. Дело сладилось довольно быстро, и через полчаса мы уже были в Березуйском овраге. На предложение Рыбникова помириться, господин Куприн ответил отказом, хотя я был готов обнять его.

В свете привезенных с собой ручных керосиновых ламп он выглядел возбужденным и готовым довести начатое дело до конца, а судя по тому, что он о чем-то постоянно спрашивал у штаб-капитана, было видно, что стреляться он со-

брался впервые. Наконец прозвучала команда «сходитесь». Не сделав и шага мне навстречу, он поднял револьвер и выстрелил. Подумав, что убит, я рухнул на землю.

И занавес упал вслед за мной.

3

Дворники дрались в свете уличного фонаря, таскали друг друга за бороды, матерились, путались в брезентовых фартуках, норовили ударить в лицо, хватали за отвороты зипунов, пытались повалить друг друга на землю.

Игнатий Иоахимович смотрел на них с отвращением, на их потные уродливые лица, на их раскиданные по мостовой шапки, которые они топтали сапогами. Представлял себе, как эти дворники, устав в конце концов от этой бессмысленной потасовки, поднимут свои пропахшие табаком ушанки-шапки с земли, отряхнут их, напялят на себя и очумеют.

– Мерзость-мерзость, какая мерзость, – повторял про себя Игнатий Иоахимович,

кутаясь в воротник шубы, переходя с быстрого шага на бег, чтобы хоть как-то спастись от ледяного пронизывающего ветра с реки. Несколько раз правда чуть не упал, но успел схватиться за шершавую от облупившейся краски стену дома, за медную ручку парадного подъезда, за чугунный поручен, обнял фонарный столб, но устоял на ногах. Со стороны он, вероятно, производил нелепое впечатление, но так как это было ранее мартовское утро – темное, промозглое, то никто не мог видеть бегущего человека в шубе, за которым от одного фонарного столба до другого гналась его тень, догоняла, потом отпускала, вновь настигала, и это продолжалось

до бесконечности. Вернее сказать, до пересечения со Старо-Невским.

Здесь Игнатий Иоахимович наконец остановился, чтобы отдышаться.

Сырой холодный воздух тут же и сжег гортань.

Закашлялся до слез.

Почувствовал озноб.

Сплюнул на землю сгусток какой-то бурой горячей жижи.

Огляделся по сторонам – никого, и свернул в первую по ходу подворотню, чтобы почти сразу упереться в глухую кирпичную стену без окон, что терялась в стылой вышине, в крышах и печных трубах.

Оказался тут – на дне прямоугольного колодца, где было тихо и безветренно, где можно было переждать приступ лихорадки, забравшись с головой внутрь безразмерной шубы.

Так и поступил Игнатий Иоахимович, привалившись к каменной приступке.

Всю ночь накануне он не спал. Не мог уснуть от волнения, от мыслей, которые гнал от себя, даже разговаривал с ними, вопрошал, и они ему отвечали как ни странно, не соглашались с ним. В конце концов смог забыться, лишь когда открыл сочинение Якоба Арминия из Утрехта «О предопределении».

«И пришли они к мудрецу, чьего имени никто не знал и чьего лица никто не видел, потому что он жил внутри каштана, в который попала молния. Голос мудреца можно было

слышать сквозь трещины в коре, через них внутрь дерева поступал воздух. Так как подобных щелей было великое множество, а каштан огромен, то казалось, что голос мудреца звучал отовсюду. Многие приходили к каштану, возраст которого насчитывал несколько веков, но не всем отвечал живущий в нем мудрец. Одних он прогонял грозным молчанием, других, напротив, привечал и даже напутствовал следующими словами – Можно совершать многие труды и питать многие надежды, но лишь в том случае свершится задуманное, когда усвоишь закон предопределенности будущего, которое неведомо никому из смертных, а знаки его начертаны в горних селениях. Что должно произойти, то и произойдет, и никакое усилие воли не исправит Божественного замысла, и никакой ум не усвоит смысла происходящего в веках. Живущий сейчас живет сейчас и заботится о насущном, имея скудные знания о прошлом, и порой ошибочно думая, что прозревает будущее. Но он есть лишь часть общего предназначения, Божественного плана, и признаться в этом себе натуре сильной и гордой непросто. Но как же тогда поступать? Как печься о грядущем, как воспитывать детей, чья жизнь устремлена в завтрашний день? Повторюсь, необходимо научиться видеть в невидимом сущее, а в обыденном вечное. В первую очередь, смотри внутрь себя, соблюдай верность внутреннему голосу. Не тому, что пришел извне и поселился как разбойник в тайниках твоей души, а тому, что был твоим от рождения и является свойством всякого сотворенного по

образу и подобию Божию...»

Игнатий Иоахимович выглянул из воротника шубы – со Старо-Невского донеслось лошадиное ржание и крики, видимо, кто-то под утро возвращался из ресторации домой, но вскоре все стихло.

Посмотрел на часы – до встречи на конспиративной квартире оставалось пятнадцать минут.

– Пора, – проговорил, трогая губами мех. Почувствовал, что озноб прекратился, уступив место волнению. Знал, что главное вовремя начать себя успокаивать, заговаривать эту волну возбуждения, иначе потом будет поздно, и может случиться припадок.

– Как там дальше у Якоба Арминия? – с этим вопросом к самому себе пересек проспект и через проходные дворы двинулся в сторону Тележной улицы, – если не ошибаюсь, вторым навыком он называет знание своей родословной, когда родители и прародители повторяют один и тот же путь и нет никакого смысла пытаться его переиначить, что заведено испокон веков, то и произойдет, главное, видеть предзнаменования и не повторять ошибок отцов и дедов, а еще научиться смирять страсти, из которых вершится беззаконие, которые ввергают в безумие.

Игнатий Иоахимович то замедлял шаг, то ускорял его, так и волнение, плескавшееся в нем как жидкость, то затихало, то нарастало.

Почему оно нарастает? Потому что он испытывает страх

перед многими обстоятельствами – на конспиративной квартире будут другие люди, его арестуют и будут пытаться, он заблудится и не придет на место вовремя, он перепутает слова стихотворения Нестора Кукольника, являющиеся паролем, и дверь перед ним захлопнется, все закончится смертоубийством.

Почему оно затихает? Потому что Игнатий Иоахимович уверен, что произойдет то, что должно произойти, ведь все предопределено, начертано в скрижалях бытия, и сейчас ему главное справиться с самим собой, победить самого себя.

Поправлял воротник пальто и входил в подъезд дома номер 5 по Тележной улице.

Гулкая тишина парадного.

Сияние перил.

Мраморная лестница.

Дверь на втором этаже открыл чахоточного вида господин в темно-синем сюртуке, застегнутом на все пуговицы. Показалось, что он был ему тесен и как бы выдавливает его из себя.

– Я здесь опять! Я обошел весь сад!

По-прежнему фонтаны мечут воду... – проговорил Игнатий Иоахимович.

– По-прежнему Петровскую природу

Немые изваянья сторожат... – прозвучало в ответ.

Темно-синий сюртук неловко затоптал на месте, задвигался, пропуская гостя в квартиру:

– Прошу вас, по коридору и направо.

Половицы паркета заскрипели под ногами.

Игнатий Иоахимович вошел в довольно просторную комнату, окна которой были наглухо зашторены. Включенная настольная лампа выхватывала своим желтым светом лишь часть пространства – шкафы с книгами, диван, стоящие вдоль стен стулья, на одном из которых сидела молодая женщина. При появлении гостя, она встала ему навстречу, протянула руку и как-то по-мужски, может быть потому что голос ее был хриплым и низкими, что никак не вязалось с ее внешностью, представилась:

– Елена Григорьевна.

Игнатий Иоахимович назвал свое имя.

– Знаю, слышана о вас, – быстрые живые глаза ее оценивали собеседника, причем, делали это довольно бестактно и во многом надменно. От этой откровенной попытки добаться взглядом до самой его сути гостю стало не по себе, и он почувствовал закипающее внутри себя странное, тягостное волнение, какое раньше он никогда не испытывал, переживание совсем иного свойства, нежели те, что посещали его в последнее время.

Игнатию Иоахимовичу ничего не оставалось, как метаться взглядом по ее лицу, плечам, груди, узкой талии, натываясь при этом постоянно на ее руки – тонкие, спокойные, предназначенные для плавных движений, являющиеся продолжением всей ее фигуры, но в то же время существующие

отдельно. Музицирующие руки.

Вальсирующие руки.

– У вас уставший вид, вы плохо спали? – Елена Григорьевна сделала несколько шагов назад и пригласила гостя к столу, – присаживайтесь.

– Вообще не спал.

– Волнуетесь?

– Нет, просто зачитался, – соврал Игнатий Иоахимович и сразу осознал, что эта женщина понимает, что сейчас он говорит неправду.

– Очень интересно. И кем же вы так зачитались? Надеюсь, не Достоевским?

– Нет, «О предопределении» Якоба Арминия из Утрехта. Не любите Федора Михайловича? – набрался смелость Игнатий Иоахимович.

– Терпеть не могу.

– Почему же, позвольте полюбопытствовать?

– Страдание вовсе не очищает душу, как нас учит господин Достоевский, оно уродует ее, приучает любить уродство, даже наслаждаться им, терпеть собственное ничтожество. А я ненавижу уродство, любезный Игнатий Иоахимович.

И он сразу вспомнил двух дерущихся в подворотне дворников, и сразу захотел воскликнуть вслед за Еленой Григорьевной – «я тоже не выношу уродства»!, но промолчал, и совершенно неожиданно для себя проговорил каким-то чужим, не своим голосом:

– А как же жалость к страдающему?

– К страдающему себе? – голос Елены Григорьевны стал еще глуше, черты лица ее обострились, кончики губ задрожали, и она неожиданно громко, даже вульгарно расхохоталась. Затем встала из-за стола, подошла к книжному шкафу, достала из некоего небольшого размера коробку, запечатанную по углам сургучом и протянула ее Игнатию Иоахимовичу.

– Это вам. А теперь, прощайте, хотя, может быть, встретимся еще когда-нибудь, и вы мне расскажете о предопределении, было бы очень интересно послушать...

Дверь захлопнулась, и он остался стоять один на лестничной площадке, подсвеченной сквозь окна лестничных маршей слабым мерцающим светом мартовского сияния.

Все произошло так быстро, почти мгновенно.

Волнение, налетевшее на Игнатия Иоахимовича как ураган, отступило.

А в ушах еще звучал смех это странной женщины, лица которой он так и не разглядел, потому что испугался посмотреть ей глаза, в то время как она смотрела на него беспрестанно и бесстыдно.

Наклоняла при этом голову к левому плечу.

Щурилась.

В ней было что-то восточное, а потому тягостное и в то же время завораживающее.

Ее пальцы двигались, как будто она перебирала клавиши

фортепьяно, а руки совершали плавные движения в такт во-ображаемой мелодии.

Игнатий Иоахимович держал в руках небольшого размера коробку, обклеенную почтовой бумагой и запечатанную по углам сургучом.

Он держал бомбу.

Переходя на обратном пути Старо-Невский, обратил внимание на афишу, в верхней части которой были крупно выведено указание года – 1881.

«Скорее всего, это была какая-то театральная антреприза или концерт известной певицы», – пронеслось в голове. Не останавливаясь, прошел мимо, но, дойдя до Лиговки, его вдруг осенило – бесконечность слева направо и справа налево. Это и есть третий навык, по мысли Якоба Арминия, навык постижения смысла цифр, последовательное расположение которых содержит в себе некий тайный иероглиф, раскрыть значение которого может лишь посвященный.

Единица – символ начала.

Восьмерка – символ бесконечности.

Бесконечность, возвращающаяся к своему началу.

Повторение одного и того же, чему означено начало, но не поставлен конец.

Значит, сегодня произойдет то, что откроет новую бесконечность, и никто не сможет ее остановить, пока не исчерпается ее предопределенность.

Игнатий Иоахимович вышел к Екатерининскому каналу и

посмотрел на часы.

До начала нового отсчета времени оставалось полчаса...

Когда Любовь Алексеевна узнала, что в Петербурге убили царя, то сразу представила себе своего супруга, погибшего от рук бунтовщиков, растерзанного, со всклокоченный бородой, лежащего на полу среди разбросанных бумаг и переломанной мебели. Так и государь умирал в перепачканной кровью снежной каше на берегу Екатерининского канала, а кругом разносились вопли, лошадиное ржание, кто-то полз по мостовой, у кого-то были конвульсии, а сквозь дым проступали чумазные лица прохожих, оцепеневших от вида разорванных взрывами человеческих тел.

Взяла за правило каждый день спускаться в библиотеку Вдовьего дома и там просматривать свежие газеты, чтобы знать, как идет судебный процесс над цареубийцами. Отдавала таким образом дань Ивану Ивановичу Куприну, чья гибель во время холерного бунта так и осталась безнаказанной. Ведь ходила же в полицейский участок и требовала арестовать разбойника по фамилии Анисимов, но ей отвечали, что в уездном городе Наровчат Пензенской губернии числится только Анисин Петр Флегонтович, 1802 года рождения, ключарь Покровского храма, и никакого Анисимова тут нет. Но Любовь Алексеевна не верила, настаивала, унижалась, плакала, упрашивала, говорила, что эту фамилию ей сообщил сам покойник, и потому тут не может быть никакой ошибки.

Вот и теперь, когда прочитала о том, что преступники Же-

лябов, Перовская, Кибальчич, Михайлов, Рысаков и Гельфман приговорены к смертной казни через повешение, от себя добавила к этом списку и бесноватого Анисимова, о котором Иван Иванович говорил, что правый его глаз был огромным как тарелка, а левый – узким на азиатский манер и стеклянным, словно бы искусственным. Правда в последний момент выяснилось, что Геся Мееровна Гельфман, также известная среди террористов как Елена Григорьевна, беременна и не может быть казнена вместе со всеми. Эта новость обрадовала Любовь Алексеевну чрезвычайно, потому что на виселице, по ее логике, освободилось место для убийцы ее мужа, и правосудие должно наконец свершиться.

Но этого не произошло.

В списке повешенных Анисимова не оказалось.

Любовь Алексеевна несколько раз перечитывала газетную заметку, ей все казалось, что она ошиблась, что пропустила фамилию убийцы Ивана Ивановича, что на самом деле приговор в его отношении приведен в исполнение, но почему-то об этом не сообщили, но сообщат обязательно, только позже. Именно по этой причине она еще довольно долго ходила в библиотеку, листала новые газеты, жадно изучала любую информацию, которая касалась казни, как их тогда называли, «первормартовцев». Например, Любовь Алексеевна узнала, что Елена Григорьевна уже в тюрьме родила девочку, но вскоре после родов скончалась, и ребенка, присвоив ему номер А-832, передали в воспитательный дом на Гороховой

улице.

Однако никакой информации об Анисимове по-прежнему не публиковали, и когда стало ясно, что ее и не опубликуют, потому что ее просто нет, с Любовью Алексеевной случился нервный припадок.

На какое-то время она потеряла возможность говорить, а могла лишь издавать нечленораздельные звуки. С обитателями Вдовьего дома она общалась при помощи записок, в это же время она написала своему сыну письмо следующего содержания:

«Любимый сын мой Сашенька, хочу сообщить тебе печальные обстоятельства жизни моей. После страшной гибели нашего государя императора занемогла я преизрядно. Артрит мой сильно беспокоит, ноги опухают и болят до невозможности, также я совершенно утратила способность говорить, потому и пишу тебе. Убийство царя навело меня на тяжелые мысли о моем покойном супруге и твоём отце, которого, как ты помнишь, я рассказывала тебе, тоже убили злоумышленники, но так и не были пойманы и наказаны. Сия несправедливость повергла меня в тоску, полностью помрачив мой рассудок. Сколько раз я восклицала в отчаянии – возможно ли такое? допустимо ли сие? Но никто, да никто, мой любезный сын, не хочет услышать меня. Более того, чиновники из департамента недобро косятся на меня, специально затягивают движение бумаг, которые я подала по этому делу, верно почитая меня за умалишенную. Как, мол, воз-

можно рассматривать обвинение, составленное со слов покойника, произнесенных им после своей смерти? – вопрошают они. А я униженно умоляю их приобщить эти слова к делу, потому что они были мне явлены в видении, которое ни один суд не может отвергнуть и назвать ложью, потому как это слова достойного и благородного человека – твоего отца и моего покойного супруга.

Скажу тебе более того, дорогой мой, читая газеты о покушении на самодержца нашего, я точно узнала, что на эшафоте промыслительно было оставлено одно свободное место, как я понимаю, как раз для злодея Анисимова, убившего Ивана Ивановича. Произошло это потому что одна из террористок оказалась беременна и казнь через повешение ей заменили на каторгу. То есть, она невольно предоставила правосудию возможность свершиться в отношении Анисимова. Я узнала, что в доме предварительного заключения, где ее содержали после казни разбойников, она родила девочку, но потом скончалась, а ее ребенка забрали в воспитательный дом.

Александр, прошу тебя, когда наступит время, разыщи ее. Может быть, она что-то расскажет тебе о той казни и о том, кто был на эшафоте вместо ее матери. И еще хочу тебе сообщить, что в воспитательном доме у нее не было имени, но только номер А – 832, как у не имеющей родителей. Я даже придумала ей имя – Мария. Прошу тебя, отнесись к моей просьбе со вниманием. Твоя любящая мать, раба Божия

Любовь.»

«Когда наступит время» – именно эти слова из письма матери произвели на кадета Куприна странное и глубокое впечатление. Казалось бы, смысл их был ему понятен, и о них можно было забыть сразу после их прочтения, но почему-то они не шли из головы. Может быть, потому что Саша отныне должен был сам понять, когда именно наступит это время, и что это будет за время – действия или бездействия, печали или радости, сна или бодрствования, глупости или мудрости. Следовательно, было необходимо постоянно помнить и думать о нем, ждать его, смотреть на настенные или привокзальные, песочные или солнечные часы, при этом не осознавая до конца, что же станет тем самым озарением, тем самым единственным моментом понимания, что оно пришло, и что пора действовать.

Когда при Саше кадеты начинали обсуждать подробности казни цареубийц, а также смерть Геси Гельфман в тюремной больнице, он затаивался, как бы цепенел, потому что чувствовал, что за пустыми разговорами о террористах и о хитрой еврейке, которая попыталась избежать наказания, но получила по заслугам, скрывается нечто большее. Ему казалось, что теперь он и сам начинал верить в несуществующего Анисимова, о котором маменька неоднократно, после долгих и заунывных упрасиваний рассказывала ему.

С подробностями.

С яркими деталями.

Во всех мелочах.

Называя предметы.

Помня слова.

Присутствуя при сём.

Прочитав письмо, Саша спрятал его в шкатулку, где хранил и другие письма от маменьки, а ключ от которой держал на цепочке вместе с нательным крестом.

– Все письма от мамочки читаешь? – раздалось за спиной.

Куприн обернулся – перед ним стоял кадет Смышляев по прозвищу Кисель.

– Не твое дело.

– Моего бедного Сашеньку обижают злые мальчики, – продолжил гнусавить Смышляев, – но я скоро приеду, вытру ему сопельки и привезу его любимое платьице.

– Заткнись, – голос Саши задрожал.

– О! Сейчас заплачет наш маменькин сынок, – Кисель шагнул к Куприну и толкнул его в плечо, – ну давай, подерись со мной!

О Смышляеве было известно, что его отец ротмистр Смышляев Петр Петрович был человеком строгим и пьющим. Кисель сам рассказывал, что за малейшие провинности отец его лупил на глазах у младших братьев, чтобы им, как он говорил, не повадно было.

В корпусе Смышляева все боялись, боялся его и Саша Куприн.

Теперь, видя перед собой коренастую фигуру Киселя, по-

чувствовал, как она поплыла у него перед глазами, как задвигалась в разные стороны, изрыгая угрозы и ругань, как надвинулась на него и прижала к стене.

Смышляев выхватил из рук Саши шкатулку и принялся вертеть ее, приговаривая «ключ давай».

– Не дам, – вдруг вырвалось откуда-то из страшной глубины, о которой Саша толком ничего и не знал, даже не мог предположить, что способен стать другим, как бы увидел себя сейчас со стороны, увидел совсем иного, незнакомого ему человека с побелевшим от ярости осунувшимся лицом, плотно сжатыми губами, дрожащим подбородком.

– Верни шкатулку, – просипел этот человек.

Кисель в изумлении отпрянул, но в то же мгновение Куприн бросился на него, вцепился ему в горло и начал душить.

Шкатулка с грохотом полетела на пол.

– Отпусти! – завыл Смышляев.

Но этот сильный человек, похожий на Сашу Куприна, решил, что убьет Киселя, задушит сейчас его до смерти, и ничего ему за это не будет, как, например, Анисимову ничего не было за то, что он убил Ивана Ивановича. А Смышляев зато навсегда исчезнет из кадетского корпуса, и все унижения и страхи исчезнут вместе с ним, и все только поблагодарят Куприна за то, что он избавил их от этого злодея.

Злодей корчится.

Злодей хрипит.

Злодей дергает ногами.

Лицо его посинело, язык застрял во рту, а из носа идет кровь.

Их насилу растащили тогда.

К Слышляеву вызвали врача, а Саша так и остался лежать на полу, прижимая к груди шкатулку и что-то бормоча себе под нос. Его решили не трогать, и он так еще долго оставался без движения, не имея сил разогнуть сведенные судорогой пальцы, скреб ногтями паркет, пребывал в полной уверенности, что совершил смертоубийство и уже придумывал, как опишет его в письме своей маменьке Любове Алексеевне.

А потом за окном стемнело, и пошел снег.

4

Позёмка мела по шпалам и деревянному настилу.

Паровозные свистки и крики носильщиков достигали ажурных сводов крыши, возвращались вниз, падали оттуда, гуляли между стальных перекрытий и арок.

Звонко стучали по рельсам молотки-шутейники путевых обходчиков.

А еще стоял громкий монотонный гомон толпы, шум шагов, вой сильнейшего сквозняка в вентиляционных колодцах.

Все это происходило за спиной подпоручика Куприна, что стоял на границе дебаркадера Николаевского вокзала, снаружи которого шел снег.

Протягивал руку под снег, наблюдал за тем, как он ее заметает, и она становится рукой гипсового изваяния.

Саша специально не оборачивался назад, потому что эти звуки напоминали ему гул полкового манежа, от которых он всегда начинал томиться, а тут глянешь – и, действительно, нет никакого Николаевского вокзала, словно и не уезжал никуда, словно ничего не изменилось, словно все осталось по-прежнему, и смотрит на тебя командир полка Петр Лаврентьевич Байковский с укоризной, мол, «от вас, господин Куприн, одни только неприятности».

Убирал руку из-под снега, тряс ей перед лицом, как бы от-

гоняя от себя дурные мысли, ведь знал наверняка, что приехал в столицу поступать в академию генштаба, потому что обещал маменьке устроить свою военную карьеру наилучшим образом, и теперь все будет совсем по-другому.

Пересекал дебаркадер, не оглядываясь по сторонам, и оказывался на привокзальном площади.

Затем шел по городу сквозь буран, а мимо него лениво, не разбирая пути, плелись извозчики. Ему казалось, что он спит, что ступает по облакам-сугробам и каждую минуту боится упасть, оступиться, провалиться сквозь них и оказаться на мостовой.

Первые несколько дней по прибытии в Петербург подпоручик К провел в приемной комиссии академии, где помимо подготовки и выверки всех необходимых к поступлению документов выяснилось, что теоретический и практический классы обучения не идут в одном потоке, а требуют разных вступительных экзаменов, последовательность сдачи которых зависит от успешности прохождения предшествующего испытания. Более того, немаловажную роль при поступлении в академию играли заслуги абитуриента по месту прохождения им службы в полку или гарнизоне, откуда он прибыл в Петербург. Особыми достижениями в 46-ом Днепровском пехотном полку Саша Куприн похвастаться не мог.

Всякий раз, спускаясь по широкой мраморной лестнице главного корпуса академии после очередного подготовительного собеседования, сомнения в правильности избранного

пути и нежелание приходить сюда на следующий день все более и более охватывали Куприна. Это было мучительное чувство, когда он обвинял сам себя в трусости и слабохарактерности, когда не понимал, чего же он хочет на самом деле, когда, наконец, видел перед собой разочарованное лицо маменьки, ждущей объяснений, которые он дать ей не мог.

Вернее сказать, конечно, он мог все рассказать Любове Алексеевне о своей страсти к сочинительству, о своей любви оставлять в блокноте заметки, наброски портретов или описания нравов, но она бы просто не услышала его, сочла бы все это вздором и юношеской глупостью, а еще она бы обязательно вспомнила покойного Ивана Ивановича Куприна, не терпевшего никаких подобных безобразий и беззаконий.

Начинал выть про себя от невозможности принять решение здесь и сейчас.

Здесь – посреди величественных колоннад и портретов выдающихся военачальников, каждый из которых с презрением смотрел мимо подпоручика, потому как он просто не был достоин их внимания.

Сейчас – когда нужно было возвращаться в свою комнату, которую снимал на другом конце города, пить пустой жидкий чай перед сном и ждать завтрашнего дня.

Саша выходил на улицу.

Зимний Петербург накрывал его своими сырым морозным сумраком без остатка, не давая никаких шансов вздохнуть полной грудью и закричать в мгlistую темноту – «у ме-

ня просто нет сил терпеть это мучение!»

Да, что-то внутри противилось насилию, которое сам над собой совершал человек, убивший на дуэли актера Приорова и задушивший в кадетском корпусе злодея Смышляева.

Тогда как другой человек, продолжавший выть с закрытым ртом, рассуждал следующим образом:

«Хорошо, можно обмануть полковое начальство, сказав, что недостаточно хорошо подготовлены документы, а приемную комиссию – что заболел. Но как быть с данным маленьке обещанием?»

Саша останавливался посреди улицы и, не умея больше сдерживать вой внутри себя, открывал рот, выпуская из него горячий пар, который вырывался наружу, но тут же и исчезал на морозном ветру.

Улетал в пустоту, но от этого становилось легче.

Затем делал несколько шагов, и решение приходило само собой: «просто нужно сочинить историю про теперь уже поручика Куприна, который с повышением в звании оканчивает по первому разряду теоретический и практический курсы, а затем поступает на дополнительное обучение, что означает его причисление к генеральному штабу и начало блестящей военной карьеры».

«Все оказывается так просто!» – даже засмеялся от подобного поворота сюжета, впрочем, тут же и закашлялся на холодном ветру.

Замотал головой, чтобы успокоить приступ.

Точно так – замотал головой в разные стороны: «нет-нет, ничем эта выдумка не была хуже истории с явлением Любо-ви Алексеевне ее покойного супруга, ничем не отличалась от вымышленной истории с разбойником Анисимовым и его казнь, ведь маменька верила в подобные видения, находя их куда более реальными, чем серая, обыденная, невзрачная жизнь, протекавшая в стенах Вдовьего дома, а видение сына в звании полковника или даже генерал-майора вполне могло посещать ее, если уже не посетило».

Вернувшись домой, подпоручик К с воодушевлением стал размышлять о том, с чего начать это фантастическое повествование, какими словами, ведь знал, что первые строки должны вызвать полное доверие читателя, что они должны прозвучать таким образом, чтобы после них уже было невозможно оторваться от чтения, словно бы ты с головой погрузился в какой-то неведомый ранее мир и не имеешь более сил оставить его.

Ходил по комнате, думал, был возбужден крайне, к чаю так и не притронулся.

А еще посмеивался, потирая ладони, ведь фразы одна за другой крутились у него в его голове, но это были вовсе не те фразы, не те слова и мысли. Конечно, не те! Ведь все, что сейчас он записывал, делал как-то впопыхах, на скорую руку. Он зачеркивал, бесился, писал снова безо всякого доверия к себе, тогда как было необходимо мучить себя, именно мучить, насильно заставляя вспоминать и описывать нечто

не лежащее на поверхности, искать вдохновение в неприметных деталях, забытых словах, обрывках фраз или писем.

Вот тут-то и открыл шкатулку, но сразу же со страхом захлопнул ее.

– А что будет, когда обман вскроется? – почти закричал Саша и закрыл лицо руками, – что будет, когда выяснится, что я просто передумал сдавать вступительные экзамены, что струсил, что нарушил присягу, что по сути дезертировал из полка, что обманул маменьку, наконец, и вообще все это затеял, чтобы отказаться от военной карьеры? Гауптвахта? Отправка в отдаленный штрафной гарнизон? Презрение товарищей? Расстрел на плацу под барабанную дробь? Отвечай, сукин ты сын! Отвечай немедленно!

– Не знаю... не ведаю, что творю, – зашептал в ладони, как замолился.

– Подпоручик, вы ведете себя как баба! – почти по складам проговорил голос, похожий на голос штабс-капитана Рыбникова.

– Я раскаиваюсь и молю о прощении, – с этими словами Саша опускался на колени.

– Как вам не стыдно! Немедленно встаньте! – а это был уже голос командира полка Петра Лаврентьевича Байковско-го.

– Нет, я виноват, я готов искупить вину перед отечеством и государем, – Саша явственно ощущал стальной обруч-ошейник, стянувший ему голову, так что он не мог под-

нять головы и смотрел только в пол перед собой, ощущал себя плененным разбойником, осужденным на смерть.

– Подпоручик Куприн, немедленно прекратите этот цирк! Пишите прошение об отставке! – проревела Любовь Алексеевна голосом Байковского.

Все перепуталось в голове от этого окрика, и Саша оглох. Именно оглох!

Превратился к глухонемого!

Смог только жестами показать в ту минуту – «нет, такого не может быть!»

Конечно же подпоручик К не мог такое говорить, не мог допустить подобного развития событий, и потому сейчас он осматривал свою комнату, не понимая, откуда звучат эти голоса? Может быть, они донеслись с улицы?

Подошел к окну и выглянул во двор.

Так и есть – в свете уличного фонаря дрались дворники.

Матерились, блажили, катались по мостовой, пихались ногами.

У одного из них было в кровь разбито лицо, а у другого из разорванного на спине зипуна торчал горб, который в отблесках фонаря напоминал безбородое и безносое лицо майора Ковалева. Того самого, с которым когда-то давно ехал в одном купе и которого почему-то хорошо запомнил, хотя он и не произнес ни одного слова. Вернее, он конечно открывал рот, видимо, что-то говорил при этом, но разобрать его речь не было никакой возможности в общем коловращении зву-

ков – вагон грохотал на рельсовых стыках, шумно спорили, пытаясь перекричать друга-друга, соседи, да и сам громко хрипел и шмыгал носом.

Ожесточение дворников меж тем постепенно спадало. Движения их становились все более и более вялыми, и казалось, что они вот-вот должны уснуть тут же на земле, извалявшись в снежной грязи, растоптав и разбросав свои ушанки-шапки по мостовой.

В конце концов, видимо, совсем лишившись сил, они отпускали друг друга.

«Вот сейчас поднимутся и пойдут вместе в ближайший кабак, где и не вспомнят, почему еще несколько минут назад хотели убить друг друга», – пронеслось в голове. Подпоручик К уперся лицом в холодное стекло, и на нем отпечатались его лоб, вывернутый набекрень нос, губы а еще осталась запотевшая иордань.

Саша Куприн вспомнил, как на Крещение настоятель домово́й церкви Разумовского сиротского приюта отец Варлаам прорубал в Яузе иордань, чтобы святить воду.

Он вставал в снег на колени, целовал крест и опускал его в черную ледяную глубину, а шеренга питомцев при этом начинала колыхаться от любопытства, потому что всем было интересно заглянуть туда, куда наклонился отче Варлаам, и узнать, что там происходит.

Там же происходило следующее – крест, хоть и был металлическим, плавал по поверхности воды, оставляя на ней по-

сле себя борозды, что пересекали друг друга, растворялись друг в друге, намерзали торосами на краях иордани-полыньи.

Потом Варлаам поднимался с колен и возносил крест над головой, а Саша продолжал смотреть на прорубленное в Яузе отверстие.

Как в окно.

Впрочем, через несколько дней иордань замерзала и ее заметало снегом.

Несмотря на то, что воспитатель приюта Савельев запрещал детям выходить на лед Яузы, Саша все же несколько раз тайком пробирался сюда, чтобы найти то место, где была пробита полынья, но не находил и следа ее, как будто бы и не было ничего на реке, а плавающий в воде крест существовал только в рассказах ползающего на четвереньках перед иорданью настоятеля.

Савельев, приволакивая ногу, гнался за Сашей и грозил ему кулаком.

Рассказывали, что на Яузе видели две ноги, которые сами по себе шли по льду от одного берега к другому.

Жутко.

Дворники поднимались с земли, обнимались как ни в чем не бывало и, прихрамывая, покидали место своего сражения – при этом они что-то вполне дружелюбно говорили другу и даже смеялись.

– Дикость, мерзость, уродство, – пробормотал подпору-

чик К.

Он снова может говорить!

Значит, немота прошла, и вернулось умение издавать членораздельные звуки после перенесенного им потрясения, потому как понял, откуда ему слышались голоса – со двора. И теперь, когда двор опустел совершенно, и наступила полная тишина, смог, ничего не боясь, отойти от окна вглубь комнаты, взять в руки шкатулку и снова открыть ее.

Саша довольно часто перебирал сложенные здесь письма от маменьки. Некоторые любил перечитывать, удивляясь всякий раз, как Любовь Алексеевна умела начать свое повествование таким образом, что уже нельзя было от него оторваться и следовало непременно дочитать его до конца. Речь как правило шла о печальных обстоятельствах ее жизни, о различных недугах, о больных ногах, о смерти подруг по Вдовьему дому, о том, что выстаивать воскресные службы целиком ей все трудней и трудней, а еще о том, что она чувствует приближение своей кончины. Куприн все знал тут практически наизусть, но не мог оторваться от этого однообразного перечисления скорбей, как будто бы они выпали не на долю маменьки, а на его собственную.

Он давно уверовал в то, что перенесенные им страдания и унижения и есть настоящая правда. Более того, пережитое и сохраненное на бумаге имело право стать истинной, а никакой не выдумкой, как многим казалось. Вот поэтому-то чтение писем Любви Алексеевны и доставляло Саше такое

удовольствие – удовольствие погружения не в то, что было на самом деле, это он знал и без маменькиных сочинений, а в то, что должно было быть.

Уверовал без сомнения!

Без страха и смятения!

Изгнав всяческое недоверие!

Научился находить вдохновение не в обыденном и повседневном, а в том, что осмысливается и лишь с течением времени становится явью.

Конечно, помнил слова маменьки из одного ее письма: «Александр, прошу тебя, когда наступит время, разыщи ее».

Вот и обретенны слова, с которых можно начинать повествование о новой жизни Александра Ивановича Куприна – «настал урочный час».

Получается, что, когда раньше придумывал для времени различные наименования – время действия или бездействия, время печали или радости, время сна или бодрствования, время глупости или мудрости, боясь при этом пропустить его наступление, ошибался всеконечно. Не верил в то, что наступление озарения предопределено.

И вот ночью, на окраине Петербурга, в комнате, напоминавшей чулан, оно пришло.

Саша тут же разыскал письмо, в котором шла речь о казни террористов, перечитал его несколько раз, и на следующий день отправился на Гороховую...

В то утро Куприн шел по городу и находил его пристально

наблюдавшим за ним, будто бы Петербург догадывался о том превращении, которое произошло с подпоручиком, и, разумеется, не одобрял его, видя в нем проявление вольнодумства, однако хранил равнодушное молчание на сей счет.

Молчание площадей, проспектов, набережных, улиц, идущих навстречу прохожих, извозчиков с до неба поднятыми лохматыми воротниками.

Да, это равнодушный город, в котором никому нет до тебя дела. Ты можешь упасть на мостовую и забиться в припадке падучей, можешь поскользнуться и оказаться в воде, можешь, наконец, просто идти сквозь толпу, держа в руке окровавленный нож или револьвер, но никто не поможет тебе и не остановит тебя, все будут проходить мимо, делая вид, что ничего не замечают. А, может быть, и вправду они ничего не видят, кроме собственных ног, обуви, шуб, шинелей, юбок, который мотаются из стороны в сторону под действием монотонного и равномерного движения? Думается, что спешка является всему виной, а еще страх оглянуться по сторонам, чтобы не дай бог не стать свидетелем чего-либо непристойного, соблазнительного или безобразного.

Нищий справляет нужду в подворотне.

Женщины украшают себя цветами в витрине магазина.

Собаки лакомятся объедками с выгребного обоза.

Тут-то Куприн и вспомнил, что со вчерашнего дня ничего не ел. Может быть, поэтому ему в голову и лезли такие мысли, от которых мутило, все вокруг вызывало раздраже-

ние, казалось враждебным? Заставлял себя поверить в то, что прохожие, попадающиеся ему на пути, весьма любезны и милы, что они непременно помогут, случись с ним беда или несчастный случай, но вновь и вновь находил уверение в том, что их несет мимо него волна неостановимого времени, и они вовсе не виноваты в собственном безразличии и жестокосердии, потому что соблюдение страха проглядеть урочный час и есть инстинкт самосохранения, заложенный в самой природе человеческой.

Ведь он и сам такой же!

Сам зачастую проходит мимо!

Сам ненавидит уродство и всячески бежит его со всех ног!

Проносится мимо него!

Сейчас ноги несут подпоручика К по Невскому проспекту, потом он сворачивает и бредет по прилегающим улицам, по проходным дворам, оказывается в Мучном переулке, почему-то запомнил именно это название, инстинктивно обнаруживает трактир, расположенный на первом этаже жилого пятиэтажного дома, и заходит в него на запах еды.

С яркого света – да в темноту.

Глаза почти ничего не видят, и какое-то время Куприн стоит как вкопанный в глухом тамбуре, понимая лишь, что тут царит довольно затхлая обстановка. А вот и полутемный прямоугольный зал, едва освещенный керосиновыми светильниками, низкий закопченный потолок, гардеробная комната, скорее напоминающая свалку пропахшей табаком

и кислой капустой одежды, древний резной шкаф с разнокалиберной посудой, прилавок, обтянутый зеленым залоснившимся сукном, пожелтевшая от времени гравюра на стене и громадный орган-оркестрион, вокруг которого расставлены столы.

Куприн занимает один из них, тот, что расположен ближе к окну. Заказывает овсяной суп, самую дешевую закуску и штофик водки, который приносят незамедлительно.

Сразу выпивает поднесенную ему половым стопку, и голова становится тяжелой. Конечно, это сказываются смертельная усталость после бессонной ночи, нервные приступы, отнимающие уйму сил, а еще голод, к которому почти привык за последние дни.

– Извольте ваш суп, – половой ставит перед Сашей тарелку, из которой к низкому потолку возносится пар.

Как же ей богу славно отхлебнуть из ложки, что еще какое-то время назад плавала в густом вареве.

Отхлебывает, морщится, приговаривает:

– Как же вкусно.

– Премного рады-с, – умиляется половой и подливает уставшему гостю вторую стопку.

– Скажи-ка, братец, а что это у вас за гравюра на стене? – произносит Александр Иванович, отодвигая от себя пустую тарелку.

– Ну как же-с, изображение дуэли господина Онегина с господином Ленским.

– Под грудь он был навывлет ранен, дымясь, из раны кровь текла...

– Так точно-с...

– А я ведь, знаешь, братец, тоже человека на дуэли убил, вернее, вообразил себе, что убил.

– Как такое возможно-с, ваше благородие, не понимаю-с.

– А вот я тебе сейчас объясню, – с этими словами подпоручик К достает из нагрудного кармана кителя записную книжку, раскрывает ее на нужной странице и начинает читать:

«В тот вечер мы с штабс-капитаном Рыбниковым отправились в одно еврейское заведение «У Шимона», которое он мне рекомендовал как место достойное во всех отношениях. И действительно, горячие закуски здесь были восхитительны. Мы, разумеется, выпивали, беседовали о полковой жизни, в которую мне предстояло окунуться, а штабс-капитан был в ней весьма искушен. Вскоре к нам присоединился актер местной антрепризы господин Приоров, человек ничтожный, как и всякий актер, завистливый и предпочитающий покутить за чужой счет. Впрочем, это нисколько меня не смущало, но даже более того – раззадоривало, потому как я люблю наблюдать проявления страстей человеческих, причем, порой в самых низменных и гадких своих проявлениях. Сначала Приоров был весьма деликатен, но по мере развития застолья принял, как я понял, излюбленный им образ бывалого кутилы, стал рассказывать пошлейшие истории из

своей актерской жизни, большая часть которых сводилась к донжуанским похождениям и, разумеется, победам на этом фронте. Среди упомянутых Приоровым женских имен прозвучало и имя Клотильды, которую он отрекомендовал напыщенной и дурно воспитанной провинциальной особой со многими претензиями. Услышав это, я потребовал, чтобы господин актер взял свои слова обратно, но в ответ раздался громкий бесцеремонный смех – «помилуйте, любезный Александр Иванович, мы же с вами беседуем о проститутках, а не о достойных замужних дамах, посему отказываться от своих слов я не намерен». Наглость Приорова меня поразила до такой степени, что я опешил совершенно. Какое-то время я даже не мог вымолвить и слова в ответ, но затем вдруг, такое и раньше уже случалось со мной, ощутил прилив такой нечеловеческой ярости и отвращения к этому человеку, что набросился на него, повалил на пол и, не помня себя, начал избивать. Рыбников с трудом нас разнял, но тот другой человек, что вдруг проснулся во мне, потребовал немедленной сатисфакции, потому как вознамерился убить Приорова непременно. Однако на эти мои слова собравшиеся поглазеть на потасовку посетители заведения почему-то ответили дружным смехом, смеялся и сам господин актер, хотя после моего нападения вид он имел весьма плачевный. Тут же явились пистолеты, как я понял потом, бутафорские. Сначала хотели ехать стреляться в Березуйский овраг, но штабс-капитан внес предложение устроить дуэль прямо «У Шимо-

на», которое было принято всеми с энтузиазмом.

Когда раздалась команда «к барьеру», я тут же нажал на спусковой крючок револьвера, и Приоров картинно рухнул на пол, выпустив из разбитого рта струйку крови. Сделал он это мастерски, потому что, как выяснилось впоследствии, не один год исполнял роль Ленского в местной антрепризе госпожи Матус».

Закончив чтение, подпоручик К убирает записную книжку в нагрудный карман кителя и заказывает еще водки. Находит при этом закуску скверной и довольствуется ее остатками от прежнего заказа. Половой послушно кивает в ответ головой, хотя прекрасно понимает, что у их благородия на нее просто нет денег.

Из трактира Куприн вышел, когда солнце уже село за крыши домов, и во дворах наступил столь привычный для этой местности полумрак.

Тяжесть из головы перекечевала в ноги, поэтому-то и они не слушались, заплетались, задевали за чугунные тумбы при выходе из подворотен.

Гороховая же улица теперь казалась каким-то далеким и несбыточным Вавилоном, где происходит оживленное движение, слышны голоса разносчиков горячего сбитня и крики надменных извозчиков, быстро летящих на всех парах с сторону Адмиралтейства.

Подпоручик К ступал медленно, неловко, да еще и спотыкаясь, кутался в шинель, что топорщилась и стояла колом,

а со своими золотыми пуговицами и погонами напоминала будку полицейского надзирателя, в которой можно было переждать непогоду или спрятаться от пронизывающего ветра с реки.

Такую будку Куприн обнаружил рядом с Каменным мостом, забрался в нее и уснул.

И вот ему снится фасад воспитательного дома на Гороховой, освещенный низкими закатным солнцем. Сооружение, более подходящее на фабричную казарму, занимает почти целый квартал, а ритм его окон невольно заставляет ускорять шаги, почти бежать вдоль нескончаемой кирпичной стены, выкрашенной в бежевый цвет. На ходу Саша пытается заглядывать в окна, но все они наглухо завешены накрахмаленными больничными шторами, пропускающими внутрь здания лишь слабое сияние отраженного от крыш и стекол дома напротив солнца.

Парадную дверь открывает рослый привратник звериного обличия. Дело в том, что его лицо терется в густой черной бороде и усах, от которых свободны лишь нависающий утесом над глазами лоб и птичий, состоящий из хряща и ноздрей-нор нос. Впрочем, первое впечатление оказывается ошибочным – привратник с участием приглашает посетителя войти, даже улыбается, насколько позволяет его грозный облик, по электрической связи вызывает дежурного, а пока просит покорно подождать и полюбоваться мастерством виртуозных полотеров, которые, заложив руки за спиной,

подобно конькобежцам, выполняют на паркете сложнейшие пируэты. Действительно, от них невозможно оторвать глаз. Словно на льду они выписывают различные фигуры, выполняют прыжки, в некотором роде даже антраша, скользят на одной ноге.

Наконец появляется дежурный.

Узнав причину прихода подпоручика в воспитательный дом, он мрачнеет. Сообщает, что дело это непростое, требующее обращения в архив, что в свою очередь требует специального разрешения из жандармского департамента, потому как все документы, связанные с государственными преступниками, строго засекречены. А пока он предлагает написать официальный запрос, которому он обещает дать ход.

Подпоручик К немедленно составляет такой запрос и передает его дежурному. По мере чтения бумаги лицо его заостряется, губы начинают дрожать, а правый глаз дергаться, что случается с людьми в минуты наивысшего их возбуждения и раздражения.

Дежурный оказывается Иваном Ивановичем Куприным, который возглашает громко и резко:

– Как же это ты, Александр сын мой, дерзаешь подавать официальный документ в государственное учреждение с грамматическими ошибками! Изволь забрать его немедленно, исправить и передать в экспедицию надлежащим образом.

Почти прокричав эти слова, Иван Иванович резко поворачи-

чивается на каблуках и начинает уходить по сияющему паркету вместе со своим перевернутым вниз головой изображением.

Шторм продолжался всю ночь и грохотал на весь поселок. Однообразные раскаты прибоя сливались в единый рев, а ветер разносил его по окрестностям, и казалось, что море обступило немецкое поселение Люстдорф со всех сторон, и что совсем скоро оно уйдет под воду, а на поверхности останется лишь кирпичная башенка спасательной станции с изорванным штандартом местного яхт-клуба на шпиле.

Старожилы рассказывали, что однажды во время такого шторма волны добрались до рыбзавода, расположенного недалеко от береговой линии, и смыли его, разбросав хранившиеся в нем запасы по всему побережью.

Водоросли,дохлая рыба, обломки такелажа, мусор, вырванные из земли деревья потом еще долго отпугивали посетителей пляжа, большую часть которых составляли дачники из Одессы, а также обитатели виллы-пансиона «Китти», где останавливались гости из Москвы и Петербурга.

Под утро шторм наконец стих, и Александр Иванович отправился на море.

Был он в приподнятом настроении. Шагал по мокрому песку, энергично размахивая руками, словно бы выполнял физические упражнения сокольской гимнастики, которой будучи еще юнкером он увлекался в Александровском училище, отбегал от прибывающей волны, хотя иногда ока-

зывался недостаточно расторопен и довольно скоро промок насквозь. Однако не унывал и продолжал это путешествие-странствие по кромке совсем недавно бесновавшегося прибоа.

По грани.

По водоразделу.

С интересом выискивал в песке раковины, выброшенные морем ключи, причудливым образом отшлифованные водой и ветром коряги, которые прилаживал у себя на поясе или на голове, принимая подобным образом вид то водяного, то поддонного царя, то чудища морского, вдыхал всей грудью запах водорослей, улыбался.

Так незаметно Александр Иванович дошел до старого волнолома, изрядно потрепанного морем и людьми, но хранившего при этом черты древних руин со следами якорных цепей и вражеских ядер, соблюдавшего очарование рукотворных каменных сочленений, заросших колючим кустарником и кривыми низкорослыми деревьями.

Любил сюда приходить, чтобы побыть в одиночестве.

Думал, что и на этот раз получится затаиться в тенистых кущах и записать в блокнот наблюдения последних дней.

Однако на сей раз все вышло по-другому.

Невысокого роста коренастый человек в купальном костюме стоял на самом краю волнолома, готовясь к прыжку в воду. Атлетично сложенная фигура выдавала в нем борца или циркового жонглера гирями. Заметив Александра Ива-

новича, он с достоинством поклонился и проговорил, заикаясь:

– П-п-рошу прощения, что нарушил ваше у-у-единение. Однако о-о-обременять вас своим обществом не буду, готов с-с-сейчас же начать заплыв до Аркадии.

– Помилуйте, но тут верст пятнадцать, не менее, – не смог сдержать своего изумления Куприн, хотя понял, что его собеседника едва ли смутит эта ремарка.

– З-з-знаю, ну так и ч-ч-что? Чувствую себя в воде м-м-много уверенней, чем на суше, – улыбнулся пловец, – кстати, меня з-з-зовут Сергей Исаевич У-у-уточкин.

Александр Иванович представился в свою очередь.

– Ну что же, А-а-александр Иванович, о-о-очень приятно и счастливо оставаться! П-п-предлагаю встретиться в Аркадии с-с-сегодня вечером и п-п-продолжить знакомство. Буду вас ж-ж-ждать, – с этими словами Уточкин оттолкнулся от камня, на котором стоял, и, описав в воздухе дугу, вошел в воду, почти не оставив после себя брызг.

Эту фамилию в Одессе Куприн уже слышал – известный велосипедист, конькобежец, футболист. Однако никак не мог предположить, что знакомство с ним произойдет именно при таких обстоятельства.

Александр Иванович вышел на край волнолома, где еще несколько минут назад готовился к своему заплыву Уточкин, и стал искать его глазами. Нашел не сразу, ибо пловец был уже достаточно далеко. Ритмично делая мощные гребки, он

быстро уходил от берега, словно желал, как можно скорей избавиться от его притяжения, а вскоре так и вообще пропал из виду, растворился в утреннем сиянии неподвижного водного пространства.

Тут оставалось только удивляться – будто бы и не было никакого Сергея Исаевича, как, впрочем, и никакого шторма, всю ночь терзавшего пляж и прибрежные постройки.

Никаких следов и свидетельств, только воспоминания, некоторые из которых сохранились в письменном виде...

Обходя набережную Екатерининского канала, околоточный по фамилии Филин обнаружил в полицейской будке спящим некоего подпоручика, коего после его пробуждения препроводил в полицейский участок, где задержанный дал показания, с его слов записанные и приобщенные к делу.

Из составленного документа выяснилось, что подпоручик Куприн посещал Воспитательный дом на Гороховой улице, где выяснял судьбу поступившей сюда в марте 1881 года новорожденной девочки, зарегистрированной под номером А-832, как не имеющей родителей. Однако в ходе разбирательства выяснилось, что родителями ребенка являются Геся Мееровна Гельфман и Николай Николаевич Колодкевич – государственные преступники, приговоренные к смертной казни. Также в архиве сохранилась выписка из медицинского журнала с сообщением о том, что в возрасте полутора лет девочку А-832 забрали из Воспитательного дома пожелавшие остаться неизвестными супруги, давшие ей имя Мария.

Информацией о месте проживания этой семьи архив Воспитательного дома не располагает. На обратном пути подпоручик Куприн посетил питейное заведение на пересечении Гороховой и Казанской улиц, где, по его словам, был вынужден употребить полуштоф водки, поскольку полученная им информация произвела на него сильнейшее впечатление. На вопрос, зачем задержанный учинил сей розыск, он ответил, что сделал это по настоятельной просьбе его матери – Любови Алексеевны Куприной, проживающей в Москве во Вдовьем доме, и пребывающей в глубокой уверенности в том, что данное дело имеет непосредственное отношение к делу о гибели ее законного супруга, отца означенного выше подпоручика Александра Куприна – Ивана Ивановича Куприна. Так как в нарушении общественного порядка задержанный замечен не был, а лишь уснул в будке полицейского надзирателя рядом с Каменным мостом, то он был отпущен домой под честное слово...

Александр Иванович возвращался в пансион «Китти», где остановился в этот приезд в Люстодрф. От приподнятого настроения, с которым он утром отправился на прогулку к морю, не осталось и следа. Он медленно брел по пустынному пляжу, загребал туфлями мокрый песок, расшвыривал ногами попадавшие на пути обрывки водорослей. Последнее время он страдал именно от таких перепадов настроения, над которыми он был не властен, что еще более усиливало его раздражение и ненависть к самому себе. Смотрел на себя

в зеркало в такие минуты и не узнавал себя: «вот видишь, какой я теперь стал, Саша... хотел тут недавно застрелиться, да пистолета под рукой не оказалось, видать, не судьба». Ну конечно, помнил эти слова однокашника по училищу Илюши Силаева, а также хорошо помнил, что всякий раз отвечал ему мысленно: «у каждого своя судьба, Илюша, что предопределено, то и сбудется, никто не знает, что его ждет завтра, и только во вчерашнем дне надо искать знаки дня грядущего».

Итак, накануне зачисления в запас Александр Иванович был произведен в поручики армейской пехоты по Киевскому уезду, потому и оказался в Киеве, где довольно быстро вышла его первая книга. Однако новая жизнь, о которой так мечталось и которую он уже видел, гордо называя себя литератором, так и не наступила, а продолжилась та, что была раньше с самого своего начала, со Вдовьевого дома, что на Кудринской, с сиротского училища, что на Яузе. Разве что на смену полковой рутине, превозмогать которую поручик К научился еще с кадетской юности, пришли еще большая неустроенность, несвобода и зависимость, но не от обстоятельств, а от издателя, которому приносил написанные рассказы и с затаенной тоской ждал ответа. Все это напоминало Александру Ивановичу посещение маменькой департамента, куда надо было ходить снова и снова, унижаться, просить, соглашаться на нелепые подачки, что-то переделывать, исправлять, что-то обещать, чтобы в результате добиться же-

лаемого. Но это желаемое уже не приносило удовольствия и удовлетворения, потому что на его достижение было потрачено слишком много сил.

Отрицательный ответ издателя, чье лицо всякий раз выражало скуку и пустоту,

звучал как приговор, после которого несколько дней Куприн не мог взять блокнот в руки. И, напротив, положительный ответ вызывал бурю эмоций и желание сочинять дальше. Однако, когда приходило отрезвление от временного и пусть даже самого незначительно успеха, находил себя в совершенно угнетенном состоянии. Приходил к убеждению, что быть писателем вовсе не означает быть свободным человеком, то есть заниматься творчеством вне зависимости от требований издателя и получения гонораров за проделанную работу было невозможно в принципе. И опять надо было разрываться между собой, выслушивающим замечания, поучения и настоятельные требования, и собой, сомневающимся в правильности сделанного той ночью с дерущимися под окном дворниками выбора.

Да и, четко говоря, воображаемое сочинение о некоем успешном штабном офицере не двигалось, стояло на месте, потому что всякий раз садясь за него, Куприн совершенно инстинктивно начинал писать о чем-то другом, о том, что пережил и перечувствовал, что вообразил себе и поверил в это как в произошедшее с ним на самом деле.

Поверить же в свою блестящую военную карьеру он не

мог.

Не могло солнце пробраться сквозь дымку облаков, сверкало редкими вспышками, освещавшими море, что мерно и монотонно качивало горизонт, шелестело прибором, который снова и снова вычерчивал на песке дуги и полуокружности, фигуры, которые при наложении друг на друга образовывали знак бесконечности.

Тогда в Воспитательном доме на Гороховой так и не смог ничего узнать о судьбе Марии, о чем и сообщил Любове Алексеевне в письме. Ответ не заставил себя долго ждать – маменька была раздосадована, просила сына не бросать это дело и непременно найти ее новую семью, потому что данный ей номер – 832, содержал в себе смысл предопределенности: восемь – знак бесконечного поиска справедливости и наказания за содеянное преступление, три – символ Живоначальной Троицы, оберегающей и сохраняющей всякого, кто молитвенно к ней обращается, а два, скорее всего, номер года нового тысячелетия, в котором в жизни Сашеньки произойдет некое важное событие.

– Что за событие такое? – недоумевал конечно.

Александр Иванович разделся и вошел в воду, ощутил прохладу, нежелание ступать дальше, но пересилив себя, сделал еще несколько шагов, оттолкнулся ото дна и поплыл.

Все произошло ровно точно так же, как и много лет назад, когда Саша вошел в пруд, что находился в саду Вдовьего дома, и поплыл на уханье сов, смех лисиц и еще рев ка-

ких-то неведомых животных, которые обитали в зоологическом саду на Кудринской. Не чувствовал страха, но удивление, что, впервые оказавшись в воде, не начал тонуть, от чего его неоднократно предостерегала маменька, описывая посиливших и вздувшихся утопленников, а поплыл, даже не понимая толком, что он при этом делает. Двигает ли руками и ногами? Или просто, вытянувшись в струну, движется по воле течения как рыба, с любопытством рассматривая водоросли на дне? Тогда время пролетело незаметно, и лишь когда оказался на противоположном берегу пруда и вошел в зоосад, то смог по-настоящему испугаться. Не могла же маменька ошибаться и говорить неправду про утопленников, водяных и русалок, которые утаскивают неразумных детей на дно и там щекочут до смерти, заставляют пить зеленую жижу и есть улиток, отчего непослушные дети превращаются в головастиков и навсегда остаются в подводном царстве. Но, с другой стороны, когда плыл по пруду, то не видел ни утопленников, ни русалок, ни головастиков. При мысли о том, что все они, скорее всего, просто пожалели Любовь Алексеевну и не стали забирать его к себе, испуг проходил, а на Сашу тем временем во все глаза смотрели их клеток дикие животные – волки, медведи, барсуки.

Шел, не оглядываясь, и воображал, что он идет по дремучему лесу, где в любую минуту может выскочить лютый хищник и съесть его. Поеживался от страха, конечно, но продолжал идти, а мокрая одежда на нем почти высохла, потому

что тот день был очень жарким. Кстати, может быть, именно поэтому животным было лень выскакивать из своих клеток и есть его. А ведь маменька уже видела своего сына если не утопленником, то растерзанным дикими зверями, беспомощным и неподвижным, с осунувшимся личиком, в изорванном костюмчике, который выдавали малолетним детям насельниц Вдовьего дома...

Доплыв до буйков, Александр Иванович повернул обратно.

Море откликнулось длинной пологой волной, отчего береговая линия сначала поднялась, затем опустилась и замерла на месте, не приближаясь и не отдаляясь.

Александр Иванович перевернулся на спину и, не совершая никаких движений, остался так лежать в полной неподвижности между небом и дном, не ведая, что с глубины за ним наблюдают рыбы.

Однако не обошлось без конфуза. Пока Куприн купался местные мальчишки ради шутки спрятали его вещи и убежали, и когда Александр Иванович наконец выбрался на берег, выяснилось, что одеться ему не во что. Истеричные и короткие поиски не увенчались успехом, и в том виде, в каком плавал, он вернулся в пансион «Китти». Вещи, конечно, потом были найдены, мальчишки тоже найдены и наказаны, но настроение было испорчено бесповоротно.

Александр Иванович заперся у себя и попросил принести ему обед в номер.

Заказал суп с кнелью и горячими пирожками, разварную стерлядь с овощами и кофе с ликером «Кюрасао».

Поглощал еду молча и сосредоточенно.

Впоследствии так описал этот обед, говоря о себе в третьем лице:

«Он сидел за столом напротив открытой двери на балкон и смотрел, как ветер раскачивает занавески, как они извиваются, то открывая, то закрывая вид на море. Есть не хотелось, но поданные блюда ждали, и приходилось пробовать поочередно принесенное официантом по имени Адальберт, то обжигаться супом и с раздражением отодвигать его, то ковырять вилкой стерлядь, а потом овощи, то надкусывать пирожок и предполагать, что теперь он стал похож на пещеру Лейхтвейса, из которой исходит пар. Просто пришло время обеда, и он заказал его, надеясь на то, что, сохраняя режим, он сможет успокоить нервы. Но тут же ловил себя на мысли, что если нервы его будут совершенно спокойны, то он не услышит едва звучащие внутри себя звуки, из которых рождается текст. Он просто оглохнет и полностью уподобится сломанному органу-оркестриону из трактира в Мучном переулке, будет, как и он грозно возвышаться до потолка, привлекая к себе внимание, но при этом не имея возможности издать и ноты. Накануне отъезда в Люстдорф издатель сообщил ему, что готов опубликовать его очерки и рассказы, но многое в них надо исправить и переписать, потому что читатель ждет увлекательных и жизненных историй. Последние

слова задела его, и он хотел ответить, что не собирается ничего переписывать, потакая тем самым вкусам обывателей, привыкших читать бульварные романы, что ему интересна психология героя, его внутренние переживания, а не любовные похождения и пошлые сюжеты, но не ответил. Он заверил издателя, что теперь специально отправляется на отдых, дабы в спокойной обстановке подготовить рукопись к публикации с учетом всех пожеланий и замечаний. И вот сейчас, с трудом доедая обед, он ненавидел себя за эти слова. Его мутило от них, но они уже были произнесены, и потому ничего исправить он не мог. Более того в первые дни своего пребывания в Люстдорфе он проделал эту работу, впадая при этом то в радостное возбуждение, что мол именно так и надо было написать сразу, то в глубокое помрачение, не имея сил перечитать исправленное.

При помощи электрического звонка он вызвал Адальберта и заказал водки, потому что почувствовал, что сейчас с ним может случиться приступ, подобный тому, что приключился с ним в Петербурге, когда он начал выть и на время оглох, и теперь ему было необходимо успокоиться любым образом, пусть и таким. Заказал, разумеется, и закуску, но так ей не притронулся. Затем он вышел на балкон и глубоко вдохнул морской воздух. Почувствовал, что ему становится легче».

Александрю Ивановичу стало легче, а, вспомнив сегодняшнее похождение с украденной одеждой, а также не ожи-

данное знакомство с Уточкиным, так и вообще рассмеялся:
– Сергей Исаевич, ах, Сергей Исаевич, какой же молодец право! Вот я с трудом до буйков и обратно сплавал, а он в Аркадию отправился! Удивительно бесстрашный человек!

А вот что знал о страхе Александр Иванович?

Что он неизбежен, конечно, что он всегда стоит за спиной.

Испытывал его неоднократно, например, когда, маменька привязывала его к железной ножке кровати и уходила со словами, что больше его не любит, или, когда он стоял перед строем в училище, и ему выносили приговор.

Все обрывалось внутри.

Жизнь заканчивалась.

Давился от слез.

Однако с возрастом понял, что знание страха есть знание ценности жизни, ее смысла, а смелость есть преодоление страха, есть победа над ним, но не является его отменой или упразднением, потому что человек смертен, и отменить это невозможно.

Александр Иванович вернулся в комнату, налил себе еще водки, выпил и вновь вышел на балкон. Стал размышлять дальше – безусловно, можно перечислять в уме свои страхи, но ни в коем случае при этом не произнося их вслух, не призывая их тем самым, можно даже с ними беседовать, представляя себя в том или ином несчастном и безнадежном положении, но всякий раз при этом необходимо помнить о том, что ты ответственен перед сделанным тобой выбором

и любящими тебя людьми, что это и есть реальность жизни, а страхи же есть ни что иное как иллюзия, обман, сумеречное состояние души, порожденное праздностью и жестокосердием. Однако человек, который не испытывает страха, безумен. Конечно слышал и сумасшедших выходках Уточкина в Одессе. Например, как он на спор однажды съехал на велосипеде ночью с Жеваховой горы и остался жив, лишь разбив себе лицо и сломав ключицу, или как провёл под водой, не всплывая, десять минут на одном дыхании, что противно природе человеческой, ведь у него нет жабр, и он не является рыбой. Все это, скорее всего, было следствием каких-то событий, произошедших еще в его детстве, и о которых Александр Иванович узнал позже.

О них ему Уточкин рассказал неожиданно и как-то очень обыденно, словно бы и не было в этом ничего из ряда вон выходящего.

Рассказал и забыл.

Рассказал и запомнил на всю жизнь.

Все началось с того, что страдавший алкоголизмом преподаватель Ришельевской гимназии Роберт Эмильевич Краузе повесился на чердаке дома, в котором он проживал со своей супругой Елизаветой Павловной и четырьмя малолетними детьми. По свидетельству очевидцев, обнаружив тело мужа, повисевшего в петле не менее двух суток, госпожа Краузе совершенно повредилась в рассудке, впала в иступление и, вооружившись кухонным ножом, сначала зарезала

своих спящих детей, а потом покончила с собой. Однако в ходе следствия по этому делу выяснилось, что перед смертью покойная также пыталась зарезать и Сережу Уточкина 10 лет от роду, который проживал в семье Краузе на пансионе.

Долго еще потом у Сережи перед глазами потом стояло бледное, перекошенное гримасой страдания лицо Елизаветы Павловны Краузе – уродливое, почерневшее. Правая половина его дергалась, и казалось, что она жила отдельно от левой, словно бы уже окоченевшей и потому неподвижной, восковой.

Женщина что-то говорила, вероятно, даже кричала, но мальчик не мог ее слышать, потому как из разверстого рта безумной ничего кроме горячего дыхания и слюны не исходило. Она вещала без слов, и именно от этого становилось страшно, ведь могла зародиться мысль, что это ты оглох и ничего кроме грохота крови в собственной голове различить не можешь.

И это уже потом Сережа увидел в руках мадам Краузе нож, перепачканный в какой-то густой, черной жиже, напоминавшей квасное сусло.

Она размахивала им как саблей.

Нож был перепачкан в крови.

И тогда Уточкин побежал.

Нет, он совершенно не помнил своих первых шагов, полностью и безоглядно доверившись какому-то неведомому ранее движению токов в ногах. Абсолютно не чувствовал ни

земли, ни ступней, не испытывал никакого усилия, толкая себя вперед. Порой ему даже казалось, что он летит, задыхаясь от страха и радости одновременно, щуря глаза, не смея оглянуться назад.

Вполне вероятно, что мадам Краузе и гналась за ним какое-то время, безмолвно крича, вознося над головой окровавленный нож, которым еще вчера на кухне стругали капусту, потрошили курицу или отслаивали огромные ломти белого хлеба, но потом оступилась, упала и напоролась на этот самый кухонный нож, испустив при этом дух мгновенно.

А Сережа ничего этого не видел и не знал, он бежал мимо водолечебницы Шорштейна, в мавританского стиля окнах которой можно было видеть голых людей, некоторые из которых были завернуты в простыни.

Бежал через проходные дворы, мимо Воронцовского дворца, по Приморскому бульвару.

Он остановился только где-то в районе Угольной гавани и вовсе не потому что устал, а потому что дальше бежать было некуда, перед ним до горизонта простиралось море.

Но именно здесь его и нашли.

Стали задавать ему вопросы, однако он молчал и лишь через некоторое время начал говорить, сильно при этом заикаясь, словно бы его мучили горловые спазмы, судороги, и слова, налезая друг на друга, превращались в поток нечленораздельных звуков. Однако постепенно он привык к этим разорванным не по его воле речевым оборотам и даже на-

учился складывать из них понятные слушателю фразы...

Со словами «Боже, милостив буди мне, грешному» Александр Иванович взял рукопись, положил ее в камин и поджог, а потом стал смотреть на огонь и представлять себе лицо издателя – побелевшее, с дрожащим подбородком. Лицо человека, дергающего себя за мочку уха, была у него такая привычка, нервно покашливающего:

– Да что же вы, наделали, любезный Александр Иванович, что ж натворили-то? Без ножа взяли и зарезали! Николая Васильевича из себя возомнили? Только вы не он, уж простите!

Именно так он и будет говорить, ходить по кабинету, требовать объяснений, возмущаться.

Когда же рукопись догорела, превратившись в мерцающую красными сполохами горсть пепла, Александр Иванович взял кочергу и разворошил ее, не оставив и следа от истлевших лепестков, разметав их по кирпичному устью каминна.

До Аркадии этим вечером Куприн так и не добрался, потому что сел писать новое сочинение взамен сожженной рукописи, которое он начал словами «настал урочный час, и пришли они к царю Соломону, слава о мудрости и красоте которого была известна далеко за пределами Палестины»

Сам не заметил, как проработал всю ночь, и только с рассветом очнулся от забытья.

Набрал полный кувшин холодной воды.

Вылил его себе на голову.

Насухо вытерся полотенцем.

После чего вернулся в комнату, собрал исписанные за ночь блокноты и спрятал их в деревянную шкатулку, ключ от которой носил на цепочке в вместе с нательным крестом.

6

Любовь Алексеевна написала сыну письмо, в котором рассказала, что ей было видение Льва Толстого, похожего на пророка Моисея с иззелена седыми волосами и струящейся бородой, заплетенной в косицы. Лев Николаевич был в высоких болотных сапогах, вытянутых на коленях полосатых почему-то пижамных штанах, старого фасона драповом пальто и неновой потертой шляпе.

Он гулял в сквере, что на Кудринской площади, покупал леденцы и раздавал их детям, но прежде чем отдать медового петушка или зайца он своим тонким старческим голосом рассказывал мальчику или девочке поучительную историю. Дети замирали, слушая какое-то время говорящего Моисея, но потом хватали леденцы и со смехом убегали. Льву Николаевичу только и оставалось, что качать головой и сокрушаться, что его поучительные истории никто не хочет дослушать до конца. Разве что один большеголовый мальчик в костюмчике, какой выдавали детям насельниц Вдовьего дома, внимательно смотрел на седовласого старика и никуда не уходил. Лев Николаевич подумал, что забыл дать ребенку леденец, но, увидев, что мальчик уже держит петушка, замер в недоумении.

– Как тебя зовут?

– Саша.

– А меня зовут пророк Моисей.

– Да, я знаю, – ответил мальчик, – мне маменька говорила про вас.

– Почему ты не уходишь, Саша?

– Потому что я жду, когда вы мне подарите леденец, ведь я выслушал до конца все ваши поучительные истории.

– Ты молодец, но, как я вижу, у тебя же уже есть один, – развел руками Лев Николаевич, задев при этом свою бороду, которая пошла волнами, а косицы зазвенели, словно в них были вплетены бубенцы.

– Один леденец я отдам маменьке, а другой возьму себе.

Старик в высоких болотных сапогах и драповом пальто обреченно вздохнул и протянул Саше угощение:

– Держи.

– Спасибо, – мальчик схватил его и тут же проворно запихнул в рот сразу двух петушков.

– Что же ты делаешь, негодник! – закричал пророк Моисей, – ты меня обманул!

Саша, отбежав от Льва Николаевича на безопасное расстояние и, не вынимая угощения изо рта, пробормотал:

– Маменька меня тоже обманула, когда обещала купить леденцы, а сама так и не купила. Я все сам съем и ей ничего не отдам.

– Ты плохой мальчик! Злой мальчик! Уходи прочь! – принялся топтать своими болотными сапогами Толстой и трясти кулаками, а собравшиеся на истошные крики старика в пи-

жамных штанах дети начинали смеяться, тыкать в него пальцами, а некоторые огольцы даже принялись кидать в него камни.

В конце письма Лидия Алексеевна рассказала сыну, что во время исповеди сообщила отцу Ездру об этом своем сневидении, найдя его лукавым и весьма искусительным. На что настоятель домового храма Вдовьего дома ответил, что граф Толстой сам прельщал невинного ребенка сладостями, и вины малолетнего раба Божия Александра в происшедшем никакой нет.

Александр Иванович отложил письмо и подумал, что, скорее всего, никакой Лев Толстой маменьке не являлся, просто она выдумала эту историю, чтобы в такой иносказательной форме высказать ему свою обиду, ведь он так давно не навещал ее и не писал ей писем. А то обстоятельство, что священник не стал обвинять мальчика в коварстве и лжи, говорило о том, Любовь Алексеевна все-таки прощала Сашеньке его невнимательность, более того, даже раскаивалась в том, что не купила своему сыну на его день рождения леденцы в сквере на Кудринской площади и заставила его страдать.

Александр Иванович видел себя беспомощным, несчастным, всеми забытым, лежащим на полу в гостиничном номере, не имеющим сил добраться до рукомоиника и умыться. Мог только стонать, с трудом переваливаясь с боку на бок, да смотреть на свои опухшие ноги, которые следовало бы натирать лампадным маслом, чтобы они не отекали. По крайней

мере это средство его матери советовала ее соседка по палате Вдовьего дома обер-офицерская вдова Мария Леонтьевна Сургучёва.

О своем возвращении с юга в Петербург Александр Иванович никому не сообщил. Он снял номер в дешевой гостинице недалеко от Знаменской площади и здесь, почти не выходя в город, сидел над рукописью, сроки сдачи которой уже давно прошли.

Чувствовал себя нехорошо.

Боле л желудок, постоянно кружилась голова, тошнило.

Мог работать только по ночам, потому что дневной свет мешал ему сосредоточиться.

Зашторивал окно, но это не спасало, особенно когда выдавался солнечный день, и комната превращалась в насквозь пронизанный слепящим сиянием аквариум, внутри которого Александр Иванович перемещался как сонная рыба – от стены к стене, от двери к окну.

Стол придвинул к кровати, потому что работал лежа.

Исписанные блокноты не перечитывал, только нумеровал, чтобы потом не нарушить последовательность чтения, не перепутать эпизоды, что сами собой складывались в причудливый орнамент, придумывая который, ощущал радость озарения, но вскоре терял к нему всяческий интерес, потому что приходили новые открытия-озарения, отменявшие своим существованием предыдущие, они вспыхивали, но оказавшись запечатленными на бумаге, тут же переставали све-

тить, лишь тускло мерцали, а потом и гасли.

Наступала ночь, и можно было раздвинуть шторы.

Сравнение Толстого с Моисеем из письма Любови Алексеевны показалось Александру Ивановичу забавным своей простодушной глупостью, потому как видел графа в Крыму на борту парохода «Святой Николай», и вовсе не был он похож на ветхозаветного праотца ни своей бородой, ни своим внешним видом. Не было в нем ничего величественного, скорее, он напоминал старого еврея, бредущего по пыльной Проскуровской улице, – изможденного, уставшего, в которого местные мальчишки бросают куски сухой глины.

Моисей останавливался, поднимал эту глину с земли, плевал на нее и, размягчив таким образом, лепил из нее фигурки животных и человечков. Один из них – тощий, с вывернутыми суставами, поднявший руки на высоту плеч, с безжизненно висящей на груди головой и скрюченными ногами напоминал распятого благоразумного разбойника, которого злые люди побивают камнями, а добрые жалеют.

Добрые люди подвели Александра Ивановича к Толстому и рекомендовали:

– Литератор Куприн.

– Мне ваше лицо, молодой человек, кажется знакомым, – смотря исподлобья, хриплым старческим голосом произнесил Моисей, – не тот ли вы мальчик, который обманул меня, когда взял два леденца и тут же их съел, хотя сказал, что одни из них он берет для своей маменьки?

– Нет, Лев Николаевич, вы ошибаетесь, я не тот мальчик, потому что никогда не ел сладких леденцов в детстве.

Было видно, что от этих слов графу Толстому становилось легче. Он улыбался в ответ и протягивал свою узкую, дрожащую руку, чтобы поздороваться.

– Литератор Куприн, говорите? – переспрашивал.

– Так точно, – по-военному четко звучало в ответ, – Александр Иванович.

– И что же вы, Александр Иванович, пишете?

– Описываю нравы, люблю также наблюдать страсти человеческие, причем, порой в самых низменных и гадких своих проявлениях.

– Это прескверно, – неожиданно резко и высоко произнесил граф.

– Отчего же, Лев Николаевич?

– От того, любезнейший, что выдает в вас фарисея, человека злого и лживого, пришедшего в чужую для него Хаанаанскую землю, все высматривающего и доносящего какому-то своему богу!

– Но позвольте, – Куприн начинал дрожать, всячески внутренне сопротивляясь закипавшей в нем ярости, не давая возможности выйти ей наружу, а на лбу его выступала холодная испарина, – вы меня совсем не знаете, но при этом позволяете себе столь нелюбезные высказывания в мой адрес.

– Я вижу вас насквозь, господин Куприн! – возгласил

Толстой так, что все бывшие на палубе «Святого Николая» оглядывались, – достойно ль описывать мерзости и гадости человеческие? Нет, не достойно! Ибо тем самым, пусть даже и невольно, вы научаете им наивного читателя, смакуете разврат или проявления нервных болезней, делая любовь публичной женщины выше любви к семье или отечеству. Подите от меня прочь!

На этих словах Лев Николаевич начинал махать руками, как бы прогоняя от себя собеседника, и топать по деревянному настилу ногами.

Только теперь Куприн замечал, что на Моисее были надежды высокие болотные сапоги.

Это было еще одним подтверждением того, что граф несколько не походил на ветхозаветного старца. Ну действительно, откуда у Моисея могли быть болотные сапоги, словно бы он совершенно по-русски решил отправиться с деревенскими мужиками на охоту или на рыбалку, чтобы развеяться после вчерашнего бурного застолья с соседским помещиком.

Глупая конечно вышла тогда история.

Александр Иванович был полностью выставлен посмешищем перед пассажирами «Святого Николая» и сопровождавшими Льва Николаевича весьма известными личностями.

Был унижен, растоптан этими самыми сапогами, но могли возразить самому Толстому?

Сам отвечал на этот вопрос – «нет». И тот второй, неве-

домый человек, что таился в Куприне, начинал себя душить при таком ответе, чтобы не кинуться на беспомощного, но грозного старика, душил скрюченными пальцами, пока не терял сознание, пребывая при этом в полной уверенности, что сам себя убил...

Наконец Александр Иванович поднялся с пола и, держась за стены, пробрался к раковине.

Здесь он пустил воду, засунул голову под кран, одновременно хлебал ее, а она лилась по его плечам, груди, животу и капала на кафельный пол.

Через несколько дней рукопись наконец была готова.

Вычитывать ее Александр Иванович не стал, поскольку боялся, что запнется на первой же странице, порвет ее в негодовании, закричит – «что же там дальше, если начало такое ужасное, надо все переделывать!», но переписывать времени уже не было. И потому, не говоря себе ни слова, закрыв глаза, будто бы чужими руками клал ее в папку и оставлял у двери, что означало – решение принято бесповоротно.

В издательство он решил пойти с утра, чтобы встретить как можно меньше сотрудников и своим появлением не вызвать ажиотажа и негодующие комментарии в свой адрес, а лучше всего, думал, – оставить папку привратнику с коротким сопроводительным письмом.

Пересек Лиговку.

Увидев в перспективе Знаменскую церковь, подумал о том, что в нее надо бы непременно зайти, чтобы купить здесь

в свечной лавке лампадное масло и натереть им ноги. Особенно к вечеру боли усиливались, щиколотки опухали и превращались в бесформенные восковые колоды, которые не помещались ни в какую обувь. Ступал и не мог смотреть на то, как отеки наливались кровью, темнели, исполосованные венозной сеткой. Опускал ноги в таз с холодной водой ноги и шевелил пальцами, между которыми можно было вставить целковый.

Куприн решил, что зайдет в храм после посещения издательства, потому что сейчас он был напряжен и подавлен, а Любовь Алексеевна всегда говорила, что входить в церковь с тяжелым сердцем – великий грех.

Входя в парадный, придумывал, чем объяснит свое исчезновение и свою затянувшуюся работу над рукописью, однако ничего кроме ссылки на то, что он был болен в голову не приходило.

Поднялся на второй этаж. Тут остановился, отдышался и нажал кнопку электрического звонка. Дребезжащая трель сразу же разнеслась где-то в недрах огромной квартиры, которую занимало издательство «Мир Божий».

Сам не зная зачем, Александр Иванович суетливо открыл папку и проверил наличие в ней рукописи. Конечно, рукопись была на месте, куда ж ей было деться. Даже проглядел первую страницу, и она показалась ему вполне достойной. «Надо было все же вычитать», – сокрушенно подумал, – «но теперь уже поздно, есть как есть».

Дверь открыла молодая женщина в черном платье, поверх которого был накинут яркий шушун. От неожиданности Куприн чуть не выронил папку из рук.

– Александр Куприн. Автор. Принес рукопись, – пробормотал Александр Иванович и заметался взглядом, ощутив приступ пронзительного волнения и мучительное чувство неловкости за свой неопрятный вид.

– Давно вас ждем, проходите, – улыбнулась женщина и жестом пригласила гостя войти. Куприн сделал шаг как во сне. Этот низкий, чуть хрипловатый голос показался ему знакомым, хотя никогда раньше он видел этой женщины. В этом голосе не было и тени улыбки, которая блуждала у нее на лице, и было совершенно невозможно понять, о чем она думает сейчас, видя перед собой немолодого уже литератора, о котором много слышала по преимуществу дурного.

– Мария Карловна, – протянула свою узкую чуть смуглую руку, – а мы уже думали, что вы не придете.

– Немного приболел, – проговорил даже не Куприн, а его рот, просто произнес заученную фразу, которая сидела в голове, безо всякого смысла и отношения к происходящему.

– Действительно, у вас очень утомленный вид, – произнесла хозяйка почти шепотом, шелестящим на сухих губах, не отводя пристального взгляда от Александра Ивановича, от которого последнему стало не по себе. Конечно, он мог сейчас начать рассказывать о том, что хотел сжечь рукопись и даже мысленно сжег ее, что несколько недель не мог к ней

прикоснуться, находя ее неудачной и никчемной, а исправления, которых от него ждали – глупыми и бессмысленными. Но потом все же заставил себя сесть за работу. Специально тайком вернулся в Петербург, чтобы никто не мешал ему быть в одиночестве, пребывая в котором, он всегда заболел, не выходил на улицу, превращался в пещерного жителя, пил, почти ничего не ел, опускался, терял счет дням. Обо всем об этом Александр Иванович вполне мог сейчас поведать Марии Карловне, но, чувствуя на себе ее взгляд, понимал, что она все это знает и видит.

Она словно проникала в него, буровила бесцеремонно, безжалостно рылась в его воспоминаниях и переживаниях. Более того, Мария Карловна, скорее всего, знала и о его встрече с Толстым, догадывалась и о том, что он страдает артритом и лечит его лампадным маслом.

«Благодатное масло, батюшка вы мой, целебное» – передразнила она старуху-попрошайку в плешивой кацавейке и плетеных из бересты чоботах.

Визгливым голосом передразнила.

Скривилась.

Громко засмеялась.

В облике Марии Карловны было что-то восточное, завораживающее и тревожное, не терпящее пустословия, настойчиво требующее обдумывать каждую свою фразу, в противном случае все изреченное будет ложью и пошлостью. У нее были большие зеленые глаза, высокий чистый лоб, туго со-

бранные на затылке темные волосы, казалось, что ее нижняя челюсть несколько выступает вперед, и даже когда она молчала возникало ощущение напряжения, будто бы она собиралась произнести что-то резкое, бестактное, но не пожалеть об этом, а напротив громко и с вызовом расхохотаться.

Как сейчас.

Александр Иванович не мог поверить в то, что теперь, спустя годы, он вновь видел перед собой Клотильду, ту самую, что когда-то забрала его блокнот и исчезла из его жизни, а сейчас его рукопись заберет Мария Карловна, которая уже листала ее, губы ее при этом шевелились, взгляд был сосредоточен и холоден: «И узнали они, что среди многих прекрасных женщин, услаждавших взоры Соломона, была лишь одна, которую он любил, и звали ее Суламита»

– Я не успел вычитать, – попытался заранее оправдаться Куприн.

– Просто не пожелали вычитывать, дорогой Александр Иванович, потому что написанный текст вам уже не интересен, он важен для вас, только когда вы его создаете, но потом, увидев его на бумаге, находите чужим, несовершенным, словно бы и не вами написанным, порой удачным, порой неудачным, и сразу забываете о нем, потому что начинаете сочинять новый, а за ним еще и еще. И так до бесконечности. Не так ли? – Мария Карловна захлопнула папку.

Куприн закивал головой в ответ, показывая, что действительно отвечает на заданный ему вопрос, но после того, что

он начал говорить в ответ, стало ясно, что все это время он думал совсем о другом, лишь притворяясь, что смущен и поражен красотой этой женщины.

– Да, благодатно и целебно лампадное масло особенно от образов Спасителя и Николая Угодника Божия. Однако моя маменька, Любовь Алексеевна, советовала также лечить артрит и при помощи муравейника. Вы удивлены? А это средство между прочим является просто чудодейственным – находите целый муравьиный вавилон и засовываете в него ноги. Тут же, что и понятно, он весь оживает, приходит в движение, и сотни, если не тысячи насекомых впиваются в ваши ноги, но при этом вы не чувствуете никакой боли совершенно, разве что легкое покалывание, которое приходится испытывать, когда ненароком угодишь голыми руками в заросли молодой крапивы. А в недрах муравейника тем временем происходит полнейшая катавасия, ведь вторжение это произошло столь неожиданно, столь дерзко, так сказать, что придало обитателям этого лесного вертограда особой ярости. Укус муравья выделяет целебную кислоту, которая в том числе используется и для лечения некоторых нервных заболеваний, а мне, знаете ли, Мария Карловна, и нервы подлечить не помешает. Тут также еще важен один момент – необходимо веточкой ли, платком смахивать мурашей, чтобы они не поднимались выше колен и не кусали там, где им не положено кусать...

Перестав говорить, Александр Иванович даже порозовел

от удовольствия, поклонился неловко, уперев свой подбородок в грудь и выпятив нижнюю губу.

– Да-да, у нас на даче в Парголово есть такой муравейник, прошу покорно в гости, думаю, что обитатели этого, как вы выразились, лесного вавилона, будут весьма удивлены.

И уже провожая Куприна к дверям, Мария Карловна добавила:

– Я посмотрела, у вас прекрасный текст, будем его публиковать в ближайшее время...

Нет, не поверил ей.

Разве можно верить подобным словам после всего сказанного им?

Она специально так сказала ему, чтобы не расстраивать нездорового человека. Вполне возможно, что сочла его неврастеником, с её-то пронизательностью! А про муравейник добавила к слову, потому что никакого вавилона у них на даче нет. Слушала его и думала про себя, боже, он же совершенно безумен! Несчастный одинокий человек, единственным близким человеком которого является его маменька, Любовь Алексеевна или Александровна, сейчас уже и не вспомнит, как ее точно зовут.

Просто пожалела его, как юнкера, стоящего на плацу.

На осеннем, пронизывающем ветру.

Перед шеренгой, напоминающей разновысокий забор, составленный из серых, с красными клапанами на воротнике шинелей.

С этими мыслями Александр Иванович вернулся домой, сел к столу и, собравшись было описать все происшедшее с ним в издательстве «Мир Божий», вдруг вспомнил, что так и не зашел в Знаменскую церковь за лампадным маслом.

– И правильно сделал, что не зашел, потому что во Владимирском соборе оно дешевле, и благодатнее, – рассмеялся, вспомнив, как Мария Карловна точно скопировала визгливый голос старухи-попрошайки в плешивой кацавейке и стоптанных безразмерных чоботах.

Будто бы ходила по городским приходам и ночлежкам.

Будто бы слушала говор этих людей, наблюдала за их поведением, училась у них спать на земле, завернувшись в дражный овчинный тулуп, да жить на подаяние. И не видела в этом уродства, не испытывала к этим людям презрения, но питала любовь к ним в некотором роде, потому как жалость, по ее мнению, и была любовью.

«Жалость унижает, Мария Карловна», – мысленно не соглашался Куприн.

«Гордого человека – да, а мне подавай смиренного, пусть и безумного, но искреннего».

«Рассуждаете впрямь по Федору Михайловичу – согрешивший крепко, крепко и кается. Так выходит?» – недоумевал Александр Иванович.

«Не совсем так, а точнее, совсем не так. Ваш господин Достоевский лукавит, а лукавый человек не может быть смиренным. Он психопат, который своими припадками вызыва-

ет жалость других, порой доводит некоторых впечатлительных особ до исступления, до обморока, но сам при этом никого не жалеет, даже самого себя, потому и не может никого любить», – голосом Марии Карловны парировал Куприн.

«Стало быть, получает удовольствие от наблюдения того, как его гноище возбуждает других?» – опешил Александр Иванович

«Да, именно так!»

«Но это же бессовестно и безжалостно!» – Куприн закрыл блокнот, как только закончил эту единственную фразу.

И как только жалость заканчивалась, то заканчивалась и любовь, потому что ее не к чему было приложить, не было ради чего жертвовать, ведь любовь – это еще и жертва, страдание одновременно и за себя, и за того, кого жалеешь. Умаление ради чувственного наслаждения, ради того, чтобы жалость к самому себе и к тому, человеку, которого любишь, слилась воедино. И тогда ничего не нужно будет объяснять и доказывать, оправдываться и обвинять, просить и унижаться, потому что любовь станет предметной, имеющей в любую минуту возможность закончиться или припадком ярости, или слезами умиления, но не отменить себя при этом.

На следующий день Александр Иванович Куприн снова отправился в издательство, чтобы увидеть Марию Карловну.

На сей раз он был аккуратно выбрит, элегантно одет.

Шел легко и быстро, почти летел.

Пересекая Лиговку, вновь увидев в перспективе Знамен-

скую церковь, и, не замедляя шагов, дал себе слово, что непременно зайдет в нее.

Этот рыжий, невысокий, плотного сложения человек с фигурой, которая могла бы принадлежать борцу или цирковому жонглеру гириями, не мог не привлекать внимание. Тем более, что он делал все возможное, чтобы это внимание было к нему привлечено. Вот, например, канотье он носил исключительно на затылке, видимо, для того чтобы все могли хорошо разглядеть его круглое вечно улыбающееся веснушчатое лицо. Ходил вразвалку, примеряя на себя маску биндюжника или портового грузчика. Или же, напротив, мог быть изящен и почти не касаться узкими носками щегольски лакированных туфель мостовой, перелетая от одного приятного общения к другому. Бывало, что и уставал конечно от всей этой бесконечной клоунады и засыпал прямо во время какого-нибудь праздничного застолья. И все знали об этой его особенности, не будили, терпеливо ждали, когда он проснется, чтобы снова продолжить этот бесконечный карнавал.

Несостоявшаяся тогда в Аркадии встреча Сергея Исаевича Уточкина и Александра Ивановича Куприна, по вине последнего, ничего не изменила. Они просто должны были встретиться, и это было делом времени.

В тот день на Малофонтанской дороге играла одесская «Вега» и команда немецкого спортивного клуба «Турн-Феррайн».

Решено было начать около пяти вечера, когда спадет жара. А пока игроки лениво перекатывали мяч, переговаривались, перешнуровывали бутсы, лежали на траве, ждали, когда соберутся зрители и рассядутся на самодельных трибунах, выкрашенных синей краской.

И вот наконец раздавался свисток арбитра. С центра поля пробивали наудалую, и в небо вздымала первая порция полупрозрачной, выжженной солнцем и пахнувшей морем пыли.

Конечно, Уточкин горячился, наблюдая за игрой, потому что знал наверняка, как следует поступить в том или ином случае, куда бежать, кому отдавать пас. Он вскакивал с места, кричал, размахивал руками, его усаживали на место, но все повторялось снова и снова.

А потом случилось нечто ужасное – получив мяч, рослый вингер «Турн-Ферайна» умело обработал его и пробил в «девятку» «Веги».

Удар был из разряда неберущихся, немцы повели в счете. – Выпускай Гришу! – что есть мочи завопил Сергей Иванович и, толкнув в бок сидевшего рядом с ним Куприна, добавил в отчаянии, – без Богемского они проиграют!

Уточкин был так взволнован, что даже не заикался.

Александр Иванович растерялся при этом совершенно, не зная, как ему себя следует вести, то ли так же неистово реагировать на происходящее, но это было бы фальшью, потому что он не знал, кто такой Богемский, и что произойдет

на поле с его появлением, то ли, полностью оцепенев, неподвижно и безучастно наблюдать за перекатывающимися мяч фигурками игроков.

– Гриша – это как я в молодости, только лучше, – словно читая его мысли, прокричал Уточкин.

К концу первого тайма один мяч все-таки удалось сквитать – с превеликим трудом его буквально пропихнули в ворота.

На перерыв ушли со счетом 1:1.

Однако ничейный результат никого не устраивал, игра на вылет решала все.

Отдыхали здесь же, на кромке по разные стороны поля.

Пыль тем временем оседала, и с моря начинало тянуть прохладой.

И вот во втором тайме наконец выходил Богемский – щуплый, бледнолицый, с деланной придурковатостью в куцых движениях, его трудно было назвать симпатичным и тем более привлекательным, но, увидев его на поле, зрители повскакивали со своих мест, вопя от восторга и предвкушения настоящей игры.

Итак, Богемский принимал верхнюю передачу из глубины поля как бы даже нехотя, лениво, затем выполнял несколько финтов, обманув тем самым защиту, и резко ускорялся, уходя от преследователей, но почти сразу сбрасывал скорость и оглядывался по сторонам. По левому флангу набегал мощный стремительный полусредний по фамилии Пиотровский,

делая жест рукой, что ждет пас, а прямо по ходу из-под плотной опеки выныривал Юра Олеша и тоже показывал, что открыт. Мгновения на раздумья, и Богемский, в очередной раз вильнув в сторону, отдавал пас Олеше. Увидев это, Пиотровский менялся в лице, поняв, что проделанная им работа по прорыву по левому флангу абсолютно напрасна. Он даже что-то кричал Грише, останавливался, зло сплевывал, но все решали секунды, и отвлекаться на это не было ни смысла, ни времени. Олеша тем временем перекидывал мяч через защитника, боковым зрением оценивал обстановку и делал голевую передачу Богемскому

Голкипер оказывался бессилён перед такой комбинацией. Нечеловечески вывернувшись, он предпринимал безуспешную попытку стать длиннее, чем он есть на самом деле, даже касался кончиками пальцев пролетавшего мяча, но это было единственное, что он мог сделать. Сетка вздрагивала, шла волнами, а судья матча засчитывал гол.

Буквально на последней минуте Богемский забил ещё один мяч и отправился принимать поздравления от обезумевших зрителей, описывать своим тонким скрипучим голосом как забил победный мяч, как получил передачу с левого фланга и пробил без подготовки. Мяч на этот раз попал в верхнюю перекладину и свечой ушел в небо, а вратарь при этом весьма неловко выпрыгнул из ворот, словно сам попытался оторваться от земли и взлететь. Однако в результате первым у мяча оказался Гриша, который и переплавил его

головой в створ ворот. Но так как все, окружавшие форварда, видели этот удар, то спешили тут же расцветить его рассказ всевозможными подробностями, снабдить деталями и украсить восторгами.

На трибунах остались только Уточкин и Куприн.

Какое-то время они сидели молча, видимо, каждый по-своему переживая увиденное. В эту минуту они были даже чем-то похожи друг на друга – сосредоточенные, круглолицые, погруженные, словно бы думающие одну и ту же думу.

Сергей Исаевич не удержался первым.

Он вскочил со скамейки и выпалил:

– Жаль, что до пенальти не дошло, я-то уж точно знаю, как надо правильно пробивать пенальти!

И Александр Иванович приступал к прослушиванию рассказа Сережи Уточкина, совершенно представляя себе целое театрализованное представление, когда в зале гаснет свет, поднимается занавес, и все начинается...

Итак, одиннадцатиметровый.

Если до него доходило дело, то Сергей Исаевич превращал его исполнение в целый спектакль, финал которого был предсказуем, но экспозиция, завязка и кульминация могли иметь массу вариантов, что приводило зрителей в неопиcуемый восторг.

Вот Уточкин устанавливает мяч на одиннадцатиметровой отметке, загадочно улыбаясь при этом голкиперу и одновременно бросая почтительно-куртуазный взгляд в сторону ре-

фери. Затем неспешно отбегает на линию удара, приглашая при этом жестами зрителей соблюдать тишину и порядок, не отвлекать его и голкипера, не в меньшей мере, от предстоящего удара. Над стадионом повисает непривычная для футбольного матча тишина.

Сосредотачивается перед разбегом, даже закрывает глаза при этом, бормоча что-то невнятное себе под нос – то ли вознося молитву футбольным богам, то ли произнося заклинание, чтобы ноги не подвели, чтобы голкипер допустил ошибку, чтобы внезапный порыв ветра не скривил выверенную до миллиметра траекторию полета мяча.

Замирает на мгновение и, навалившись всем телом вперед, начинает движение. По мере приближения к мячу скорость нарастает, и кажется, что вся мышечная масса атлета сейчас найдет выход в том единственном и точном ударе, который всегда отличал Уточкина-пенальтиста. Однако в самое последнее мгновение происходит нечто необъяснимое и даже противоестественное – добежав до мяча и занеся для того самого страшного по своей мощи удара правую ногу, он лишь имитирует одиннадцатиметровый в левый угол ворот, а после виртуозного кульбита пробивает опорной левой ногой в правый угол. При этом вратарь обречен лишь наблюдать за тем, как мяч влетает в пустой створ ворот, тогда как сам он падает в противоположном направлении, словно вся сила инерции валит его с ног, делая попытку спасти положение бессмысленной и беспомощной.

Уточкин же тем временем совершает круг почета по футбольному полю, приветствует беснующихся болельщиков, большинство из которых так и не поняли, что же произошло.

Под бурные овации занавес опускается, в зале загорается свет, и все начинают расходиться.

– Вот это пенальти, – подводит итог своему рассказу.

И это уже потом, когда вдвоем они шли по Малофонтанской дороге, Сергей Исаевич как-то очень обыденно, словно бы и не было в этом ничего из ряда вон выходящего, стал рассказывать о своем детстве, о том, как страдавший алкоголизмом преподаватель Ришельевской гимназии Роберт Эмильевич Краузе, у которого он жил на пансионе, повесился на чердаке своего дома и так провисел не менее двух суток, пока его не обнаружила супруга Елизавета Павловна и не сошла от этого с ума.

– Рехнулась попросту говоря, у нее еще пол лица парализовало, и она не могла говорить, – изобразил гримасу, сощурил правый глаз, выпятил нижнюю губу.

Нет, не укладывалось в голове у Александра Ивановича, как об этом можно беззаботно рассказывать, да еще и вот так вот шутить, кривляясь.

Вот он, например, до сих пор с содроганием вспоминает генеральшу Телепневу, которая наложила на себя руки в процедурном кабинете Вдовьего дома.

Хорошо запомнил тот морозный, ясный день, когда к ним с маменькой в палату с грохотом распахнулась дверь, и де-

журная по этажу низким, простуженным голосом пробасила – «Телепнева повесилась». И все куда-то с криками побежали, а Саша остался один. Вернее сказать, он медленно, как во сне, побрел по коридору на звуки стонов и завываний. Почему-то дверь в процедурную тогда оказалась открыта, и он увидел висящую посреди кабинета генеральшу, которая, по словам Любви Алексеевны, любила гладить его по голове и приговаривать – «какой славный мальчик, быть ему юнкером».

Потом прибежали дворник и горбатый истопник Ремнев. Они, подставив стол, принялись стаскивать Телепневу со стальной балки, соединявшей своды потолка. Но у них ничего не получалось, потому что генеральша была большая и тяжелая.

– Уходи немедленно, нечего тебе здесь делать! – раздавался за спиной громкий истеричный голос Любви Алексеевны, – не смотри на этой! Отвернись немедленно!

Хотел бы Саша отвернуться, да не мог.

Глаза не пускали, увеличившись до размеров круглой лопухой головы, а шея просто-напросто окаменела, вросла в плечи, застряла в ключицах, сделалась полностью неподвижной.

Любовь Алексеевна хватала сына и тащила его от двери, которая тут же и захлопывалась, будто бы Саша ее держал, а он ее и не держал вовсе.

– Экий вы впечатлительный, Александр Иванович, – про-

говорил Уточкин с значением, – даром что писатель.

– Да ведь эта несчастная генеральша все из окна выброститься хотела, но у нас во Вдовьем доме на этот случай все подоконники были специально к полу скошены, чтобы к окнам нельзя было подобраться. Вот она и нашла другой способ свести счеты с жизнью. Вот я о чем, Сергей Исаевич, думаю.

– Чему быть, того не миновать, – помрачнел Уточкин.

Насупился.

Запахнул руки глубоко в карманы.

Уставился в одну точку перед собой.

Вспомнил историю об одном человеке, который еще в детстве начал выступать в цирке гимнастом. Был он легок, крылат и удачлив. Однажды сорвался с трапеции, но не убился, в другой раз его не поймал партнер, и он, упав с высоты более пятнадцати сажен на манеж, отделался лишь переломом руки. Встал, поклонился с улыбкой и ушел за кулисы. Потом он оставил цирк и увлекся велосипедным спортом. Сначала принимал участие в гонках на шоссе, ни раз падал, разбивался, но вновь возвращался в седло. Затем он стал гоняться на циклодроме, но и тут его преследовали разные ужасные катастрофы. Однако всякий раз он выкарабкивался, продолжал выступать и побеждать. Был уверен в том, что он заговоренный, ведь многие его друзья и соперники не пережили тех аварий, в которые они попадали вместе с ним. Однако время шло, и выигрывать становилось все трудней и трудней.

Наконец он оставил велосипед, надеясь на то, что его имя еще долго будут помнить, но его начали забывать. Тогда в поисках работы он отправился в Петербург, но тут не пережил и первой зимы. Вот ведь как – человек, который должен был погибнуть десятки раз, простудился и, попал в больницу, умер.

Сергей Исаевич вынул руки из карманов, пошевелил пальцами в воздухе, словно перебрал клавиши аккордеона, и тут же откуда-то с набережной зазвучал духовой оркестр.

– Просто совпало? – удивился Куприн, думая о том, что история Уточкина была, вероятно, историей о самом себе. Или, может быть, историей про некоего воображаемого Сережу Уточкина, чья яркая жизнь не может продолжаться вечно, а его неуязвимость для смерти – великая иллюзия. Эта его жизнь подобна вспышке, озарению, которое приходит, будоража воображение, давая силы и вдохновляя, а потом угасает, и наступает ночь.

Впотьмах вышли к водолечебнице Шорштейна.

– Вот здесь я и бежал тогда, – рассмеялся Уточкин, – почему-то хорошо запомнил в этих окнах голых людей, некоторые из которых были завернуты в простыни.

Он остановился и указал на огромные черные стекла, в которых отражались уличные фонари и два человека, стоящие на тротуаре в свете этих фонарей.

– Мимо Воронцовского парка выбежал на Приморский бульвар, откуда и до Угольной гавани рукой подать, а дальше

было море...

Здесь нынче крошечная тьма стоит под водой, нет ни одного проблеска, только на отмелях возникает голубоватое свечение, будто бы где-то на дне горит газ.

Загадочно.

Страшно.

Безлюдно.

Безучастные рыбы шевелят плавниками.

Мог ли Александр Иванович вообразить себе, что произойдет с этим человеком через несколько лет, когда он увлечется авиацией, примет участие в перелете Санкт-Петербург – Москва, потерпит сокрушительное поражение, попадет в психиатрическую лечебницу и выйдет из нее уже совсем другим человеком – замкнутым, настороженным, надломленным, начнет что-то сочинять и даже публиковаться, а еще будет бродить по призрачному и пустому Петербургу, который никогда не любил, сидеть на ступеньках Казанского собора на Невском, заходить в трактиры и прочие злачные заведения, играть здесь на биллиарде на деньги, потому как другой возможности зарабатывать себе на жизнь у него не будет, затем вновь попадет в больницу, из которой уже не выйдет.

Нет, представить себе это было невозможно хотя бы по той причине, что никто не может знать будущее, разве что в поступках и поведении человека можно обнаружить знаки-иероглифы того, что ему предначертано, что его ожидает

и куда он идет в полном неведении как в темноте.

Но как уметь прочесть эти тайные знаки? Как отличить их от обыденного, от ничего не значащих заметок на полях, когда рукой водит не мысль, а рефлексы?

В своей записной книжке о той ночной прогулке Куприн оставил следующие рассуждения Уточкина: «А вот знаете, Александр Иванович, совсем недавно попалась мне на глаза прелюбопытная книга некоего Якоба Арминия из Утрехта. «О предопределении» называется. Прочитал с интересом и вынес из нее ту мысль, которая, кстати, мне показалась очень правильной, что избранный непременно спасется, а осужденный – погибнет. То есть, то, что должно произойти произойдет в любом случае. А вот предопределено ли сие, или это есть выбор некоего высшего судии, это еще вопрос. Для меня, по крайней мере. Действительно, «предопределено кем?» Возникает такой вопрос, не правда ли? Тут, разумеется, можно помыслить о Божественном водительстве, но как уразуметь его сущность? Как в него уверовать?

Вот однажды в детстве со мной произошла следующая история.

Воспользовавшись тем, что мой отец Исайя Кузьмич был болен, я пробрался в его кабинет, что он мне категорически запрещал делать, заигрался и не заметил, как уснул под его рабочим столом. Когда же проснулся, то увидел, что кабинет заполнен какими-то неизвестными мне людьми. Они расхаживали вокруг стола и о чем-то рассуждали. Я мог видеть

только их ноги. Когда я прислушался к их разговору, то понял, что речь идет о моем отце. Эти люди оказались врачами, и они говорили о том, что отец смертельно болен и не доживет до Пасхи, свидетельствовали об этом с безнадежным безразличием, наверное, потому что это была их работа, а не потому что им не было жалко моего отца. Я страшно испугался, меня начали душить слезы, и я захотел немедленно побежать к отцу, чтобы рассказать ему о подслушанном мной разговоре. Но, с другой стороны, гнев Исайи Кузьмича страшил меня еще больше, ведь тогда бы он догадался, что я нарушил его запрет, пробравшись в кабинет, а это сильно огорчило бы его и ухудшило и без того плохое его самочувствие. Дождавшись, когда врачи уйдут из кабинета, я незаметно выбрался из дома и направился в расположенную недалеко от нас церковь. Крестовоздвиженскую. кажется. Сейчас уже не вспомню. Сам не знаю, почему я поступил именно так, ведь раньше редко сюда заходил. В церкви было темно и пустынно. Я подошел к огромному, наверное, в человеческий рост изображению Спасителя и стал упрашивать его помочь моему отцу, сделать так, чтобы он не умирал, а я обещал быть послушным за это, впредь никогда не волновать отца и не беспокоить его по всяким пустякам. Так к этой иконе я ходил целую неделю и просил, просил, просил... Наконец мне показалось, что Бог услышал меня, и я в радостном настроении вернулся домой, где узнал, что мой отец только что умер. Я видел, как вокруг него суетились какие-то старухи,

а он лежал на кровати как присыпанное мукой сырое тесто, неумело слепленное в форме человеческого тела. Я отвернулся и вышел на улицу. Более всего меня потрясло то, что именно тогда, когда я молил Бога и получал от Него уверенность, что все обойдется, и отец останется жив, отец умирал. Я просто не мог уразуметь, как такое возможно, а когда же наконец все понял, то мне стало ясно, что я обманут. Это такое странное чувство, когда вдруг осознаешь, что все, еще недавно имевшее смысл, ничего не значит и оказывается совершенной пустотой, за которой ровным счетом ничего не стоит, а планы, которые ты наивно строил, разрушены, и связи, которые ты старательно создавал, разорвались, и теперь ты один летишь в пространстве».

Впоследствии Александр Иванович ни раз перечитывал эту запись и не мог с ней согласиться как с доказательством того, что предопределение есть выдумка и результат Божественной глухоты.

То, что спасение избранного и казнь осужденного изначально предопределены абсолютным выбором, который руками и устами окружающих тебя людей делает Бог, для Александра Ивановича было бесспорно.

Вот, например, инструментом провиденциальной воли для него была его маменька Любовь Куприна, которая призывала его в детстве бечевкой к ножке кровати, дабы и наказать, и уберечь от еще больших бесчинств, и выказать тем самым к нему свою любовь одновременно.

Конечно понять тогда это было невозможно, потому и забирался под кровать и чувствовал там себя в безопасности.

Между пальцев на ногах застревали песок и катышки, и Саша старательно вычищал их перед сном.

Смотрел сначала на непривязанную ногу, а потом на привязанную.

Конечно мог запросто отвязать ее, но не делал этого, пряча руки за спину. Уберегался. И вовсе не потому что боялся маменькиного гнева, а потому что был не в силах перебороть того, чему был предназначен изначально по воле родителей. Да и Иван Иванович Куприн, которого и не знал толком, разве что по рассказам маменьки, был для него не в меньшей степени строгим судьей, потому как в любое время он мог явиться ему в видении и пригрозить поднятым как у Саваофа из домово́й церкви Марии и Магдалины перстом.

Поднимал глаза к потолку, где и был изображен этот Саваоф с развивающейся на сквозняке бородой и иззелена седыми волосами.

– Видимо, его с Толстым маменька и перепутала, – усмехнулся Александр Иванович.

А когда Любовь Алексеевна возвращалась из департамента, с вечерней службы ли, Сашенька уже спал.

Она отвязывала его от железной в форме лапы неведомого хищника ножки, доставала из-под кровати и заботливо перекладывала в постель.

Саша при этом не просыпался.

– Хорошо, что сюда эти дурацкие совы из зоосада не долетают, – с удовлетворением про себя замечала Любовь Алексеевна...

Александр Иванович заходил в море в районе Угольной гавани и шел по дну. Смотрел себе под ноги, но ничего разглядеть не мог, потому что под водой стояла крошечная темнота, разве что на отмелях возникало голубоватое загадочное свечение, и можно было подумать, что где-то на дне горит газ.

Чувствовал, как к его ногам подплывают рыбы, шевелят плавниками, создавая тем самым невольные течения, а иногда даже и покусывали, но абсолютно безболезненно, словно муравьи, обитающие в своем лесном вавилоне.

Потом довольно часто встречались с Уточкинским уже в Петербурге в заведении «Вена», что на Малой Морской. Здесь, как правило, засиживались до утра, вспоминали, как ходили в Одессе на футбол, как поднимались на воздушном шаре, как дрались с биндюжниками, и как однажды Сережу чуть не зарезали в подворотне.

– Но не з-з-зарезали ж до с-с-смерти, – отвечал Уточкин, подмигивая собеседнику, и Александр Иванович знал, о чем, произнося эти слова, думал Сергей Исаевич. О том, что он избранный, и что он обязательно спасется, потому что если бы он был осужденным, то уже давно бы лежал в могиле.

В ответ Куприн делал знак, чтобы несли горячее и еще водки.

– Сию секунду-с исполним-с... – неслось из качающейся гладко выбритой головы официанта как из граммофонной трубы.

И Александр Иванович тоже начинал качать головой, сокрушаться, что не понимает милый Сережа Уточкин одной простой истины, что он и осужденный, и избранный одновременно, что предопределено ему неведомое, и свершится оно не по воле случая или судьбы, а по воле Божией.

Смотрел на своего товарища с жалостью и сожалением, а он уже и спал, положив голову на скатерть рядом с тарелкой.

Во сне Сережа видит подворотню, из которой ему наперерез выходит фигура дюжего, с идиотской улыбкой косоглазого мужика.

– Барин, дай на приют, – произносит он надрывно и с завыванием.

– Изволь, – Уточкин протягивает босяку тридцать копеек.

– Маловато что-то, – усмехается косоглазый, – добавь бы надо.

– Проходи с Богом, – Сергей Исаевич упирается взглядом в рябое лицо босяка.

– Ну тогда картуз давай, дядя, – тянет свистящим полупшепотом мужик, после чего срывает головной убор с Уточкина и пытается тут же напялить его на себя.

Но не успевает.

Сделав полшага вперед, подсев на месте и едва склонив голову влево, коротким хуком справа Сергей Исаевич от-

правляет босяка на асфальтовую мостовую.

Картуз катится по поребрику.

Уточкин наклоняется, чтобы его поймать, но тут неизвестно откуда появляется другой бродяга и ударяет Уточкина в спину ножом. От боли темнеет в глазах и судорогой сковывает все тело. Только и успевает, что выдохнуть, схватить босяка за шиворот и со всей силы швырнуть его о кирпичную стену. Тот сразу же и оседает на землю, выронив нож, который вываливается из его руки на тротуар.

– Стой, братцы! – вдруг начинает блажить третий босяк, – не трожь его, это ж Уточкин!

– Опять имя спасло, а то ведь могли бы и прирезать, – шепчет Сергей Исаевич, теряя сознание, и прибавляет, – вот оказывается, кто на самом деле решает, кому жить, а кому умирать...

8

Это был большой дом, в котором всегда звучала музыка.

Сколько Маша себя помнила – не могла спокойно смотреть на трясущуюся руку, обхватившую черный гриф виолончели, а ещё на эти скрюченные пальцы, которые то бегали по струнам, то замирали на них, будто бы с ними приключалась судорога, и они повисали на проводах как окоченевшие птицы в зимнюю стужу.

Смычок же напоминал лодку, что преодолевала волны, и из этого преодоления рождались звуки, которые перетекали друг в друга, всякий раз по-новому, всякий раз меняя последовательность этого перетекания, делая его неуловимым, недоступным пониманию. Нет, абсолютно невозможно было угадать, как поведет себя дрожащая рука, и куда при этом направится смычок, поднимется ли на гребень волны, или провалится до самого дна и забьется там в припадке.

Не смотрела в ту сторону.

Отворачивалась.

Только слушала и представляла себе, как музыка, записанная при помощи нот на бумаге, оживает и через причудливо изогнутые эфы, напоминающие замочные скважины, вырывается из фанерной коробки наружу.

Рука, водившая смычком, напротив, была прикована к нему навсегда и могла пребывать в неподвижности долгие

часы, лишь опускалась вместе с ним и поднималась, опускалась и поднималась, напоминая рычаг какого-то судового механизма, выполняющего работу во время морской качки.

После того, как музыка затихала, еще какое-то время Маша напевала ее про себя, не понимая, каким образом она возникла в ней и куда она уйдет, как только смолкнут последние аккорды в ее голове.

И вот они смолкали окончательно.

Теперь наконец можно было различить звуки, доносящиеся из соседних комнат, с лестничной площадки и с улицы.

Маша не знала, каким образом она очутилась в этом доме. По крайней мере ей никто не рассказывал об этом, всегда обходили данную тему молчанием. Как-то мялись, жеманились, сразу начинали говорить о другом, покашливали и прятали глаза. Все здесь называли ее Машенькой, а со временем и Марией Карловной, потому что хозяином дома был Карл Юльевич, и Маша считала его своими отцом.

Каждый день отец играл на виолончели.

В остальное же время его руки, особенно левая, совсем не дрожали, а напротив выполняли разнообразные плавные движения, как будто бы он дирижировал, повторяя волнообразное течение звуков, происходившее в его голове.

По тому, как отец дирижировал Маша могла определить, какая именно музыка сейчас звучит в нем. Особенно Карл Юльевич любил Баха и Верди. Портреты этих композиторов висели в его кабинете, и в детстве Маша думала, что это ка-

кие-то их дальние родственники, а Иоганн Себастьян Бах в парике напоминал пожилую даму и вполне мог быть ее бабушкой.

Так как у Маши был абсолютный слух, то ей, что и понятно, прочили музыкальную карьеру, даже наняли учителя музыки, потому что у Карла Юльевича не было времени заниматься с девочкой. Но учитель музыки – студент консерватории по фамилии Тимофеев, получив плату за уроки вперед, запил, и занятия, так и не начавшись, прекратились. Чему, кстати, Маша втайне обрадовалась, потому что не хотела быть музыкантом, ведь тогда бы у нее, как и у отца со временем начали бы дрожать руки, а это было так некрасиво, так уродливо.

Да, она не выносила уродства, при виде его впадала в ступор, ее начинало трясти, и она с трудом сдерживала себя, чтобы не закричать от отчаяния и возмущения.

Однажды, уже учась на Бестужевских курсах, на занятии по хоровому пению Мария Карловна услышала, что преподаватель вокала сфальшивил, показывая, как следует исполнять куплет песни, и поправила его. Разразился скандал. Машу вызвали к директору курсов и потребовали, чтобы она извинилась перед преподавателем, но делать это она категорически отказалась, сказав, что извиняться ей не в чем, потому как он исказил гармонию и не попал в ноты, после чего развернулась и ушла, может быть, впервые сделав то, что ей хотелось сделать вопреки правилам, условностям, не сдер-

живая себя, не заботясь о том, что ее ждет впереди.

Почувствовала себя гордой и дерзкой в ту минуту, ощутив вкус подобной безнаказанной ярости, и под натиском этого чувства, которое прежде таилось в ней, и теперь как музыка из фанерной коробки вырвалось на волю, она приняла решение на курсы больше не возвращаться.

Решение приемной дочери опечалило Карла Юльевича, его руки действительно задрожали от волнения, когда он услышал эту новость, но спорить с Машей он не стал, почувствовав, что в ее характере начинает проявляться что-то ему неведомое, жестокое и чужое, чего он боялся и не знал, как с этим совладать, потому что сам он был человеком совершенно другим.

Дирижировал своим мыслям, накручивал усы на указательный палец, страдал от грудной жабы, не расставался с виолончелью и довольно часто давал сольные концерты в филармоническом обществе.

Супруга Карла Юльевича – Александра Аркадьевна была человеком куда более приземленным и практичным.

К решению Маши покинуть Бестужевские курсы она отнеслась спокойно, не найдя в этом поступке приемной дочери ничего ужасающего, и предложила Маше место редактора в издаваемом ей журнале «Мир Божий», справедливо полагая, что ее юношеский максимализм может быть полезен в деле отбора рукописей, в огромном количестве поступавших в издательство.

Однако была у этого замысла и другая сторона – Маша получала неограниченную власть над текстами, приходившими на редакционную почту, и ей предстояло решать, какой из них окажется в корзине, а какой опубликован. Тем самым Александра Аркадьевна предоставила Маше возможность проявить свой характер в деле, а не только во время семейных ссор.

Авторы, что и понятно, искали ее дружбы и расположения. Это забавляло Марию Карловну, ведь слишком часто она видела за этими подобострастными улыбками и витиеватыми комплиментами ненависть, раздражение и единственный вопрос – «кто ей дал право решать нашу судьбу?».

А еще ей доставляло особое удовольствие, когда отказывала автору и объясняла, почему это сделала – говорила при этом медленно, приводила примеры из текста, была холодна и неприступна. Также ей нравилось долго рассуждать о литературе, не говоря ни «да», ни «нет», и наблюдать за тем, как ее собеседник постепенно сходит с ума, совершенно теряясь в догадках о судьбе своего сочинения. И когда этот спектакль невыносимо затягивался, она вдруг принимала положительное решение, изобразив на своем лице восхищенное удивление, делала вид, что только сейчас поняла, насколько талантливо написано то или иное произведение...

В тот день в редакцию она пришла раньше всех, чтобы разобраться с рукописями и подготовить некоторые из них к публикации до появления сотрудников журнала, потому как

любила работать в одиночестве, испытывая отвращение ко всем этим литературным сплетням и пустым обсуждениям того или иного писателя, о котором у нее, разумеется, было свое мнение, отличное от мнения окружающих.

И вот только она села к столу, как в прихожей раздался звонок.

В дверях стоял невысокий, круглолицый, неопрятно одетый человек с папкой в руках.

– Александр Куприн. Автор. Принес рукопись, – пробормотал он и протянул папку, словно хотел немедленно избавиться от нее как от чего-то опасного и вредоносного.

– Давно вас ждем, – улыбнулась Маша, – проходите.

Куприн неловко ступил в прихожую, продолжая держать рукопись в вытянутой руке. Взгляд его блуждал, было видно, что он растерян и не вполне понимает, что делает.

Спасая ситуацию, Маша взяла папку, при этом рука Александра Ивановича так и застыла в воздухе, и в ответ протянула свою:

– Мария Карловна. А мы уже думали, что вы не придете.

– Немного приболел... – произнес Куприн и запнулся, как это бывает, когда человек говорит неправду и не знает, чем закончить начатую фразу, а также осознает, что любой ее финал будет выглядеть глупым и безнадежно банальным.

– Действительно, у вас очень утомленный вид, – прозвучало как-то отстраненно. Маша пристально смотрела на Куприна, но ни подтверждения, ни опровержения слухов об этом

человеке, по преимуществу дурных, она не находила. Перед ней стоял толстой мальчик по имени Саша, которому бы вполне пошел сиротский костюмчик или кадетский китель.

Саша Куприн тоскливо озирался по сторонам, не зная, куда деть свои руки, переминался с ноги на ногу.

– Страдаете артритом? – вопрос прозвучал бесцеремонно, но не безжалостно, – говорят, что от него помогает растирание лампадным маслом. Лучше во Владимирском соборе покупать, там оно и дешевле, и благодатнее.

– Да, слышал, но мне, знаете ли, ближе Знаменская церковь, а с моими-то ногами это, согласитесь, немаловажное обстоятельство, – Александр Иванович поклонился неловко, засоглашавшись таким образом, а затем добавил, – моя маменька, Любовь Алексеевна Куприна, советовала также лечить артрит при помощи муравейника. Да-да! Вы удивлены?

– Нисколько, у нас на даче в Парголово есть такой муравейник, так что прошу покорно в гости, – не отрываясь от просмотра рукописи, произнесла Маша

– Я не успел вычитать...

– Может быть, просто не пожелали вычитывать, дорогой Александр Иванович, -

Мария Карловна подняла глаза от текста, – потому что написанный текст вам уже не интересен, он важен для вас, только когда вы его создаете. Не правда ли? – захлопнула папку, – у вас прекрасный текст, будем его публиковать в ближайшее время.

Конечно, увидела, что он не поверил ей.

Подумал, наверное, что она пожалела его, и потому обнадежила.

Какой смешной человек!

Уже в дверях редакции, Александр Иванович обернулся к ней и неожиданно произнес:

– Жалость унижает, Мария Карловна.

– Гордого человека – да, а мне подавай смиренного, пусть и безумного, но искреннего.

– Рассуждаете впрямь по Достоевскому – согрешивший крепко, крепко и кается. Так выходит? – Куприн улыбнулся.

– Терпеть не могу вашего Достоевского.

– Почему же?

– Страдание, дорогой Александр Иванович, вовсе не очищает душу, как нас учит этот господин, оно уродует ее и приучает любить уродство. Да что там любить! Наслаждаться им, превознося собственное ничтожество. А я ненавижу уродство, поскольку оно безжалостно и бессмысленно...

На следующий день Маша осталась дома, потому что всю ночь читала рукопись Куприна и теперь, как после звучания музыки, ее не оставлял этот текст, она вновь и вновь перечитывала его в уме, не имея при этом никаких сил и желания браться за другие рукописи, которые ее ждали в редакции.

Прибывший к обеду курьер из журнала сообщил, что в издательство приходил Александр Иванович Куприн и хотел встретиться с Марией Карловной. Узнав же, что ее нет, по-

просил передать ей записку.

Несколько слов на листке из блокнота – приглашение на ледяные горки в Александровский сад, что у Адмиралтейства.

Ну конечно, толстый мальчик Саша Куприн, который стеснялся своих очков и кадетской формы, потому что она ему была мала и трещала по швам, всю жизнь мечтал покататься на огромных, достигающих до пятого этажа жилого дома ледяных горок, которые в его детстве каждую зиму строили на Яузе недалеко от Разумовского сиротского пансиона. Воображал себе, как несется по нескончаемому ледяному желобу на деревянных санках, как умирает от страха и счастья одновременно, а встречным ветром у него с головы срывает шапку, и она улетает в снег.

На вершину ледяной горы первой взлетела, конечно, Маша.

Александр Иванович не поспевал за ней, он с трудом преодолевал крутые ступени, расстегнул шубу, потому как ударило в жар, да еще и смешно размахивал руками, как бы помогая себе тем самым взойти на эту самодельную Фаворскую горку.

На деревянной площадке, украшенной разноцветными лентами, флажками и электрическими лампами, их уже поджидали заказанные заблаговременно сани в форме лошадки в яблоках с черной, развивающейся на ветру гривой.

Отсюда была видна Дворцовая площадь и казалось, что

с этой верхотуры можно было доехать до Александровского столпа, залепленного инеем, уходящего в светящееся морозным солнцем небо, веря при этом в то, что где-то там, на его недостижимой вершине стоит одинокий ангел, попирающий крестом извивающегося полоза.

Рыжий курносый павловец в песочного цвета шинели, перехваченной на груди башлыком, заботливо усадил Машу и Александра Ивановича на узкую, обтянутую войлоком скамейку и со словами – «извольте прокатиться, ваше благородие», столкнул сани на ледяную дорожку желоба.

И тут же все загрохотало, заревело в ушах, а на глазах выступили слезы. В каком-то торжественном и безумном полусне мимо понеслись деревья, колоннады, доходящие до человеческого роста сугробы, остолбеневшие на морозе извозчики, бегущие вслед за санями дети.

Куприн инстинктивно вцепился в черную гриву деревянной лошадки как тогда в длинном больничном коридоре Вдовьего дома, когда лошадка бежала все быстрее и быстрее, а коридор все не заканчивался и не заканчивался.

Так и сейчас – при каждом новом порыве ветра и ударе полозьев о потрескавшийся лед, желоб словно бы удлинялся, оживал и становился бесконечным, а вопящие, что есть мочи, зрители наклонялись почти к самим несущимся саням, предупреждая ездоков об опасности, что мол так недолго и убиться насмерть.

Но никто их не слушал, разумеется, и деревянная лошадка

неудержимо неслась вперед, туда, где в серебристой дымке зимнего утра выростал гигантский столп со стоящим на его вершине бронзовым ангелом.

Александр Иванович оглянулся на Машу – выражение ее лица было спокойным и одухотворенным, глаза слегка сощурены, губы плотно сжаты, а пряди волос, выбившиеся из-под берета, обтекали ее лоб и скулы. Было видно, что она полностью погружена в себя, в свои думы, что испытывала радостное наслаждение от того, что легкое дыхание и должно быть таким – безумным и искренним, чистосердечным и беззаботным в том смысле, что не должно помышлять о том, что тебя ждет впереди, а в данном случае, чем закончится эта бешеная езда.

Меж тем, вылетев со спуска, сани покатались по бугристой ледяной дороге, скрежеща своими металлическими полозьями по бортам желоба.

Гранитная колонна надвигалась.

Совсем застыли руки, и окоченел подбородок.

– Пошла, пошла, – шептал Александр Иванович, и деревянная лошадка, будто слыша его, несла во весь опор, но на сей раз уже по равнине, обгоняя пеших и конных, заставляя экипажи шарахаться в разные стороны.

– Скользим, скользим! – кричал иступленно.

Но не тут-то было – в этот поток разрозненных звуков и слов вдруг ворвалось как паровозный гудок:

– Поберегись, куда прешь, дубина стоеросовая!

Куприн оглянулся – на них летел ломовой, и было понятно, что ни поворотить, ни тем более остановиться он уже не сможет, а ангел, строго наблюдая за происходящим с высоты столпа, многозначительно молчал.

Видел, конечно, удар, от которого деревянные сани с треском развалились на несколько кусков и разлетелись по разные стороны от ледяной дороги, а голова, круп лошадки, черная грива ее, переворачиваясь в воздухе, полетели на снег к ногам сбежавшихся зевак, парили в невесомости, как это бывает после взрыва, когда по воздуху еще долго летают обрывки горящих газет и тлеющей ткани.

Легли на этот утоптаный снег, который растает только в конце апреля.

– Голубушка, Мария Карловна, вы живы? Не ушиблись? – почти заплакал Александр Иванович.

– Жива-жива, – рассмеялась Маша, – а управлять-то вы санями, господин Куприн, совсем не умеете. Знала бы, не поехала с вами с горки кататься. А где же ваша шапка?

Потерял-потерял.

Потерял совсем голову рядом с Марией Карловной.

Эх, потерял свой каракулевый пирожок! И стал суетливо искать его на потеху публике. Даже опустился на колени, чтобы обнаружить шапку в обломках саней или выкопать из снега, куда ее могли затолкать гуляющие в Александровском саду.

– Александр Иванович, что вы делаете? Встаньте немед-

ленно!

– Нет, не встану, а буду на коленях, Мария Карловна, просить вашей руки.

– Наденьте шапку, вы простудитесь!

– Нет, не надену, буду с непокрытой головой ждать вашего ответа, а если вы скажете «нет», то заболею и умру.

– Что вы такое говорите?

– Я жду... – крупные капли пота стекали у Александра Ивановича по лбу, волосы спутались, и от них поднимался пар.

– Да, я согласна! Вставайте!

Вечером Куприн заболел.

Поднялась высокая температура, а озноб перешел в лихорадку, которая терзала его всю ночь.

Маша, оставившая Куприна в своем кабинете в редакции, теперь смотрела на него и буквально задыхалась от чувства жалости к этому несуразному, так странно появившемуся в ее жизни человеку. Конечно, она помнила, что ответила ему «да», но, как ни странно, это вынужденное согласие не томило и не удручало ее. Более того, ей было необычайно радостно на душе, что теперь она сможет дарить Куприну ту часть своей души, которая до сего дня была не востребована, и потому многие за глаза обвиняли ее в жестокосердии и холодности. Просто не предоставлялось случая проявить свою жалостливость, которая и есть настоящая любовь. Да, Маша была в этом уверена, и после того как провела всю ночь с

Александром Ивановичем, который произносил в бреду какие-то неведомые ей имена, слагал путанные фразы, кашлял, хрипел и плакал, она испытала настоящее потрясение от той бури чувств к этому страдающему писателю, у которого ничего кроме его сочинений и разрозненных фраз и мыслей не было. Он был воистину безумен, но при этом совершенно по-детски искренен. Он был большим ребенком, который наелся на морозе сосулек и вот теперь заболел.

Под утро обессиленный Александр Иванович уснул.

Саше приснился сон, как он хоронит свою деревянную лошадку.

Вот Любовь Алексеевна берет сына за руку и подводит к ее останкам.

Заставляет поклониться им, после чего горбатый истопник Вдовьего дома Ремнев начинает их забрасывать землей.

Комья шлепаются друг на друга, издавая чавкающий звук.

Сашу душат слезы обиды, потому что еще давеча Ремнев обещал ему починить лошадку при помощи молотка и гвоздей с иконы Сошествие Спасителя во ад, а теперь вот закапывает ее.

Все кончено.

Он обманул.

Саша пытается вырваться, но маменька крепко держит его за руку.

Как на привязи.

«Зачем она это делает? Почему не отпускает? Ведь я же не

сделал ничего плохого, или все-таки сделал?» – эти вопросы всплывают в полуразмытом, теряющемся сознании.

«Я тебя не отпускаю, потому что отныне ты мой муж, а я твоя жена», – хрипловатым насмешливым голосом Клотильды отвечает Мария Карловна, невысказанным образом оказавшаяся на месте маменьки.

«Как я счастлив, как я счастлив», – умиротворенно бормочет Александр Иванович и открывает глаза.

Маша сидела рядом с ним и держала его за руку.

Не мог поверить в это чудо – закрывал и открывал глаза снова и снова.

Стало стыдно, что тогда, во время их первой встречи он не поверил словам Марии Карловны о его рукописи.

Тут же захотелось извиниться перед ней, целовать ее руки, но почувствовал себя еще слишком слабым и беспомощным, ничего кроме сочувственной улыбки не могущим вызвать, разве что способным на жалость к самому себе. Потому и остался неподвижен.

Неподвижен совсем.

Лишь улавливал окружающие его запахи, но не узнавал их. Не было тут ни восковых ароматов, ни мятных благовоний, но дух неизвестных ему лекарств и накрахмаленного белья, которое своими острыми углами впивалось ему в тело. Стенал, а Мария Карловна наклонялась к нему и вытирала выступившие у него на лбу капли пота.

– Бедный, бедный Александр Иванович, – шелестела су-

хими своими губами. Так шелестят сухие листья, когда осенний ветер гонит их по мостовой, собирает из них целые вавилоны, что можно потом беззаботно разрушать, расшвыривая ногами.

Через несколько дней Куприн почувствовал себя уже настолько лучше, что смог записать свои мысли, они же видения, посетившие его, когда она находилась в горячечном состоянии. Разумеется, знал, что яркие, объемные картины, которые он наблюдал во время обострения болезни, оказавшись запечатленными на бумаге, потеряют свою привлекательность и станут, скорее, частью его недуга, свидетельством его диагноза, но никак не поводом для дальнейшего сочинительства. Однако не мог ничего поделаться с этой своей привычкой – все заносить в блокнот или просто на подвернувшийся под руку клочок бумаги. Потом, перечитывая, вымарывал, негодовал, что поддался искушению взяться за перо или карандаш, но все же не до конца находил это занятие бессмысленным, потому как извлекал из подобной словесной россыпи слова-иероглифы, фразы-символы, мысли-знаки. Они, несомненно, были и просто их надо было раздобыть.

Вот и сейчас набросал несколько фраз о том, как в свою бытность юнкером простыл на плацу во время строевых занятий и попал в лазарет, где его заставляли полоскать горло какой-то горькой дрянью и поили перед сном горячим молоком, от которого он сильно потел и так лежал в кромешной

темноте, завернувшись в одеяло, боясь отклеить прилипшую к телу хлопковую пижаму...

– Мария Карловна, голубушка, а не нашелся ли там часом мой каракулевый пирожок?

– Отправила человека на поиски. Не беспокойтесь, Александр Иванович, найдется.

– Вот и славно, душа моя, вот и славно, – заворачивался в плед и отхлебывал из чашки настоящий на шиповнике кипяток.

А тем временем студент историко-филологического факультета Павел Розен бродил по заснеженному Александровскому саду в поисках утерянного Куприным головного убора. Делал это исключительно по просьбе Марии Карловны, в которую был влюблен, и она знала об этом.

Узнав о том, что Маша ответила согласием на сделанное господином Куприным предложение, Розен дал себе слово забыть ее навсегда и уйти из журнала, где подрабатывал корректором, но не смог ничего с собой поделать, когда Мария Карловна подошла к нему, взяла его за руку и попросила ей помочь.

И вот сейчас он ходил по пустому парку, освещенному газовыми фонарями, и всматривался в черные провалы теней, что отбрасывали деревья и скамейки, наблюдал и за собственной тенью, которая, перемещаясь по ледяной дорожке, то вытягиваясь, то сокращаясь, открывала ложбины, в которых мог затеряться каракулевый пирожок.

Наклонялся, разгребал снег, но ничего не находил.

Так, в поисках шапки Куприна провел около часа.

В результате окончательно замерз и озверел, а еще начал вслух разговаривать сам с собой, что случалось с ним крайне редко и было знаком того, что он до крайней степени раздосадован и опустошен бессмысленностью происходящего. Но так как окоченел подбородок, то уже и не мог разобрать, что же именно он произносит – скорее всего, проклинал самого себя и свою несчастную любовь. Но ведь и Маша почему-то не отпускала его от себя, не прогоняла, но оказывала знаки внимания и даже говорила, что ей нравятся его стихи.

Сочинял в тайне ото всех, слышал строфы как музыку, сразу записывал их и никогда больше потом не правил, боясь, что таким образом он отпустит их, и они уйдут от него и никогда больше не вернуться.

Розен вышел из Александровского сада, пересек Дворцовую площадь.

Оказался на Певческом мосту.

Здесь остановился и, облокотившись на перила, закурил.
– Барин, дай на приют, – прозвучало над самым ухом.

Павел оглянулся, перед ним стоял высокий худой мужик в шинели явно с чужого плеча и в высоких, доходящих до колен валенках. Глубоко надвинутая на самые глаза шапка не позволяла разглядеть его лица.

Розен сделал несколько шагов назад, и мужик последовал за ним. При этом тень от фонаря ушла в сторону и стало

ясно, что на мужике был напялен каракулевый пирожок.

– Откуда у тебя эта шапка, братец?

– Бог послал, – в голосе мужика прозвучала настороженность, и теперь он отступил назад.

– Говори, украл или нашел?

– Никак не можно украсть, грех это.

– Тогда где нашел?

Черные валенки как две самоварные трубы, вывернутые наоборот, задвигались.

Мужик как-то неестественно при этом вытянулся, сложил губы дудочкой, словно бы натужно сделал «у-у», выпучил глаза и, зацепившись своими острыми худыми коленками за края валенок, бросился бежать от Розена.

Шинель беглеца взвилась, а полы ее распахнулись.

– Стой! – Павел кинулся за шинелью.

Конечно, это был тот самый каракулевый пирожок, который мужик подобрал в Александровском саду. Вполне возможно, что он даже видел, как шапка слетела с головы грузного господина в распахнутой шубе, который вместе с молодой женщиной неся в санях с ледяной горки. Поднял пирожок, разбойник, и сразу напялил его себе на голову, а свою драную ушанку-шпаку тут же выкинул в сугроб, проговорив при этом, «вот до чего ж тепло-то голове сразу стало».

Догнать мужика удалось только в темном пустом дворе где-то на Миллионной. Бежать тут было больше некуда.

Тяжело дыша, они остановились перед глухой кирпичной

стеной.

– Тебе чего, барин? – выпуская изо рта густую, тянущуюся до самой земли слюну, прохрипел мужик.

– Шапку отдай, – Павел протянул руку к каракулевому пирожку на его голове, – она не твоя.

– Сейчас, сейчас отдам, – скривился мужик, вытер рукавом лицо и засунул правую руку в карман шинели, словно бы что-то там искал, – вот, держи! – он резко распрямылся, а рука его при этом вылетела из кармана и полоснула Розена по горлу оказавшейся в ней бритвой.

Не поняв, что произошло, Павел схватил мужика за плечи, но дотянуться до шапки не смог, он обмяк, широко раскрыл рот и привалился к стене.

Выходя со двора, шинель оглянулась – на железных воротах висела оторванная с одного конца афиша, в верхней части которой было крупно выведено «1902 год».

«Наверное, концерт какой-нибудь известной певицы или представление у Чннизелли», – пронеслось в каракулевом пирожке.

И быстро зашагал к Марсовому полю, бормоча себе под нос:

– Эк получилось-то нехорошо...

... а предсказание Любове Алексеевны, согласно которому на второй год нового тысячелетия в жизни Сашеньки произойдет важное событие, сбылось. В этом году он женился на Маше.

Только вот про потерянную во время катания на ледяной горке шапку вскоре все забыли:

– Да и Бог с ней, не нашлась и не нашлась...

Белый клоун Федерико сидел в гримерке перед зеркалом и кистью наносил на лицо пудру. Накладывал ее в несколько слоев так, что кожа становилась абсолютно неподвижной, будто загипсованной, но этого Федерико и добивался, ведь было необходимо скрыть невольные гримасы, подергивание губ и бровей, а также ветвящиеся от глаз и из уголков рта морщины.

Перед этой процедурой на голову он специально надевал чулок, чтобы волосы не падали на лоб и не лезли в глаза.

Также он ловко орудовал черной тушью, подводя ресницы и брови, подчеркивая абрис впалых щек и обозначая кончики острых ушей, торчавших настороженно и вызывающе. Просто Федерико был лопоухим от рождения и теперь при помощи грима превращал этот недостаток в достоинство.

У него был еще один недостаток, точнее, физический изъян – он был горбатым, что к его грустному образу добавляло еще большей значимости, в том смысле, что быть белым клоуном ему начертала сама судьба, и печальным он оставался не только на цирковом манеже, но и в жизни.

Закончив с гримом, Федерико замирал перед зеркалом и долго смотрел на свое отражение, стараясь забыть себя без грима и без костюма, без этой белой кофты, красного шарфа и черного котелка из твердого залоснившегося войлока.

Зрители должны были знать его именно таким, но никак не обычным горбуном в поношенном пиджаке и вытянутых на коленях мятых шерстяных брюках.

Сам себе стал подавать реплики, и сам же на них отвечать:

– Мсье Федерико, как вы себя чувствуете?

– Плохо.

– И что же у вас болит?

– У меня болит душа.

– Душа!? А вы не пробовали ее лечить?

– Пробовал, но после этого лечения у меня начинает болеть не только она.

– Да-да, понимаю вас.

– Нет, вы, мсье Рыжий, меня не понимаете, потому что я натура тонкая и возвышенная, чего нельзя сказать о вас.

– Всегда хотел спросить вас, мсье Федерико, а что это у вас на спине?

– Это, смею заметить, горб.

– Ах вот оно что! А я-то подумал, что это мешок с подарками для почтенной публики!

– Детям леденцы, дамам цветы и бонбоньерки, а уважаемым господам сигары и нюхательный табак?

– Именно об этом я и подумал, но теперь вижу, что вы оставили почтенную публику без подарков, потому что в ваш горб они просто не поместятся.

– Зато у меня есть подарок для вас, мсье Рыжий!

– Для меня? Вот так новость! Какой же?

– Носовой платок.

– Помилуйте, но зачем мне носовой платок?

– Затем, что у вас всегда текут сопли, мсье Рыжий, и вам надо хорошенько высморкаться...

На этих словах Федерико достал из кармана носовой платок и начал им помахивать перед зеркалом. От такого колебания воздуха пудра тут же взлетала, кружилась, оседала на разноцветные склянки и столешницу примерного столика.

Во время последнего выступления в Чинизелли на репризе о носовом платке зрители засмеялись, а когда Рыжий клоун стал сморкаться, так и просто арена взорвалась аплодисментами. Федерико тогда потупил глаза долу и развел руками, мол, сами видите, многоуважаемые посетители представления, с кем приходится общаться и вместе с кем выступать. А Рыжий, закончив прочистку носа, тоже стал смеяться вместе со зрителями, комично размахивая платком со следами только что проделанной процедуры.

Нет, несколько белый клоун в ту минуту не лицедействовал, не кривил душой, ему действительно было неприятно наблюдать за кривляниями своего напарника, но при этом он прекрасно понимал, что именно они веселят публику, а он – печальный Федерико лишь призван оттенять вульгарные выходы Рыжего, который и в жизни, следует заметить, ничем не отличался от себя на арене цирка.

– Вам понравился мой подарок?

– Конечно! Он пахнет женскими духами! Или это мне

только кажется?

Арена продолжала рукоплескать рыжему клоуну, а бело-му только и оставалось, что посылать воздушные поцелуи своей воображаемой избраннице и снимать перед ней свой черный котелок.

На представлениях в Чинизелли Маша всегда чувствовала себя неуютно. Особенно после того случая, когда сидевшего рядом с ней Александра Ивановича буквально вытащили на манеж, и он, нисколько не сопротивляясь, будто бы даже ждал этого, пошел.

Это был номер певицы Жозефины, которая читала мысли на расстоянии и могла их пропеть. У нее было великолепное меццо-сопрано. Говорят, что она вообще не умела разговаривать, но только петь, потому что музыка постоянно звучала у нее в голове. Мария Карловна слышала о Жозефине и раньше, разумеется, но теперь впервые видела ее и как зачарованная смотрела на эту маленькую, худенькую, коротко стриженную женщину в мужском костюме, украшенном полосками стекларуса.

Нахождение же рядом с ней Александра Ивановича казалось Маше каким-то недоразумением. Она не понимала, зачем он нынче выставил себя эдаким коверным посмешищем – диковато улыбающийся, беспомощно поводящий руками, как это он всегда делал, когда не знал, куда их деть.

Меж тем печальный белый клоун по имени Федерико попросил Куприна загадать что-либо и не сообщать об этом

окружающим. Лицо Александра Ивановича сразу посерьезнело, он замер и стал искать взглядом Марию Карловну, а когда нашел, то вдруг неожиданно закричал:

– Машенька, я тут! Я тебя люблю!

Цирк зашелся от хохота.

Не зная, куда деться от стыда, Маша вжалась в кресло. Ей захотелось немедленно вскочить и убежать отсюда, но мысль о том, что Саша останется тут один, парализовала ее.

Жозефина безучастно взирала на происходящее, периодически пробуя голос.

– Итак, вы загадали? – включился в представление Рыжий и бесцеремонно приобнял Куприна.

– Да, загадал, – кивнул в ответ Александр Иванович, сжал кулаки и, подав вперед подбородок, выпрямился по стойке «смирно», словно он стоял на плацу Александровского военного училища.

И сразу наступила гробовая тишина.

Цирк опустел.

Над ареной в свете софитов раскачивались трапеции и летала пыль, поднятая во время только что завершившегося выступления жонглеров Кисс.

Один за одним осветительные приборы постепенно гасли, и когда включенным остался единственный софит, в его свет вошла певица Жозефина. Она подняла руки над головой в третьей позиции, повернула голову на три четверти и запела.

Голос ее – сильный и ровный совершенно не сочетался с ее обликом трагедии. Казалось, что поет вовсе не она, а кто-то другой, затаившийся под куполом цирка, ведь именно оттуда, сверху звуки опускались и обволакивали как густой непроглядный туман, как пелена дождя или как тяжелый мокрый снег.

Мария Карловна закрыла уши ладонями, однако до нее все равно донеслось:

Но я не создан для блаженства;

Ему чужда душа моя;

Напрасны ваши совершенства:

Их вовсе недостойн я...

Смотрела на Сашу, который блаженно улыбался в полумраке цирковой арены, и думала о том, что он сам похож на коверного клоуна, которого приглашают вернуться на свое место в зрительном зале, а он все чего-то ждет, мешкает, щурится, попадая в яркий свет единственного софита.

И это уже потом, когда включили свет, и раздались первые аплодисменты, выяснилось, что Александра Ивановича на арене уже нет.

Маша бросилась его искать и вскоре обнаружила в артистической гримерке, где он вместе со взлохмаченным горбатым человеком в поношенном пиджаке и вытянутых на ко-

лениях мятых шерстяных брюках пил вино.

При виде Марии Карловны Куприн отшатнулся, и на какое-то мгновение Маше показалось, что он не узнал ее, и что сейчас она видит перед собой какого-то другого человека – Александра Ивановича, несомненно, но какого-то иного, до того ей неведомого Александра Ивановича, и он не вызывал у нее ни малейшей жалости.

Испугалась при мысли об этом, но в то же время ей стало чрезвычайно любопытно ощущать в себе это новое чувство, когда, казалось бы, раз и навсегда установленное правило менялось на глазах, и жалость, а вместе с ней и любовь могли исчезнуть от одного неверного взгляда или сказанного слова, а потом вновь вернуться.

«Или не вернуться?» – вопрос повис в воздухе.

Александр Иванович встрепенулся и стал объяснять Маше, что пропетая Жозефиной ария Онегина была ошибкой, неудачной шуткой, и что задумал он совсем другое. Он даже попытался встать на колени перед Марией Карловной, но не удержался и упал плашмя, а Федерико и Маша начали его тут же поднимать.

Пыхтели.

Старались.

С трудом справлялись в тяжелым Александром Ивановичем.

Усаживали его на диван, но он не мог держаться и заваливался набок.

Успевали подсунуть ему под голову подушку.

Вот после этого случая у Чинизелли Мария Карловна старалась сюда не захаживать, а если и приходилось, то садилась ближе к выходу и не отпускала Куприна от себя ни на шаг. Она крепко держала его за руку, а еще мечтала привязать его к подлокотникам кресла. Однако тот, иной Александр Иванович сопротивлялся, мычал, начинал блажить и даже хотел задушить свою жену.

– Ну уж нет, – улыбалась про себя Мария Карловна, – она была супругой другого Куприна – чудаковатого, что-то постоянно записывающего в блокнот, который вместе с другими записными книжками и письмами от матери он хранил в деревянной шкатулке и даже ей не позволял ее открывать, искреннего до наивности, любящего спать днем после обеда. Он просил называть его Сашенькой, потому что его так в детстве называла мать – Любовь Алексеевна.

А что же до другого Александра Ивановича, у которого было красное венозное лицо, широкие азиатские скулы, недобрый взгляд исподлобья и артрит, который он не лечил, то Мария Карловна находила его выдумкой, призраком, что приходил к Сашеньке и мучал его.

Вселялся в него...

«Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша», – пела вместе со всеми на Всенощной Любовь Алексеевна, держась за стенку, потому что ноги ее уже совсем не

держали. Только и думала в последнее время, что о них – имеющих пунцовый цвет, словно их долго вываривали в кипятке, об отеках, что как желе перекатывались от лодыжки к плюсне и обратно, пульсировали, вздувались и можно было подумать, что они живые. Представляла их перемазанными лечебной грязью, лампадным маслом, погруженными в муравейник, разговаривала с ними, просила перестать болеть, но они не отвечали и продолжали болеть дальше.

«Вот паразиты!» – ругалась про себя.

Конечно Любовь Алексеевна пыталась отогнать от себя эти мысли, но они не уходили. Особенно они ее одолевали на службе, как будто бы началозлобный демон хотел отвлечь Любовь Алексеевну от молитвы. И тогда она начинала роптать, ненавидеть себя и свои ноги, а мятежный дух все более и более сокрушал ее сердце.

Сокрушенное сердце.

Разбитое сердце.

Окаменевшее сердце уже никогда не сможет испытать любовь.

Никогда не могла забыть, как грозила своему сыну, что, если он не будет ее слушаться, то она не будет его любить. Не понимала, конечно, что говорит и чем угрожает, потому что от нее это не зависело, было не в ее силах.

К концу службы Любовь Алексеевну усаживали на скамейку рядом со свечным ящиком. Какое-то время она сидела, но потом заваливалась набок, и тогда кровь отливала от

ступней.

Становилось легче.

Весть о женитьбе сына Любовь Алексеевна восприняла спокойно.

Могла обрадоваться, что Александр наконец обрел семью. Могла и опечалиться, что теперь у сына своя жизнь, и едва ли в ней ей найдется место. Но не произошло ни того, ни другого. Просто Любовь Алексеевна точно знала, что для нее он навсегда останется Сашенькой, которого у нее никто не сможет отнять – ни жена, ни семья, ни даже смерть.

Дело в том, что она по-прежнему любила заглядывать к себе под кровать, чтобы удостовериться в том, что Саша все еще находится там и накрепко привязан бечевкой к железной ножке кровати.

«Там, там, куда ж ему деться от меня разбойнику такому!» – похлопывала по тюфяку ладонью, – «спит, а вот раньше мог вскочить посреди ночи и начать рыдать неведомо почему – то ли страшный сон ему приснился, то ли его разбудили своим назойливым уханьем желтоглазые совы, что теснились под окном и скреблись когтями по жестяному карнизу, страшные птицы».

Однако под утро совы возвращались в зоосад, где обитали в деревянных кивотах, и весь день спали, ложась на живот, не подавая признаков жизни, разве что могли иногда вздрагивать во сне.

В одном из своих последних писем сыну Любовь Алексе-

евна сообщила, что он посетил ее в видении в образе полковника второго Стрелкового Царскосельского полка. Она, разумеется, не разбиралась ни в воинских чинах, ни в названиях полков, но почему-то знала наверняка, что ее Сашенька в звании полковника проходит службу именно в Царском Селе. Он был статен, подтянут, заложив руки за спину, прогуливался по песчаным дорожкам вертограда среди диковинных растений и с наслаждением вдыхал аромат цветов.

Любовь Алексеевна пыталась дотронуться до руки сына, но он вежливо уклонялся от этого прикосновения, что вселяло в нее тревогу, сомнение в том, что это видение достоверно и не является ли оно лукавым примышлением. Но, с другой стороны, как было не верить письмам Сашеньки, в которых он описывал свои достижения на армейском поприще.

Любовь Алексеевна шла по песчаной вслед дорожке за сыном, звала его негромко, однако он не оборачивался, лишь чуть наклонял голову в ее сторону и поправлял фуражку.

Получив это письмо, Александр Иванович даже не стал его дочитывать до конца и тут же убрал в шкатулку, с некоторых пор заглядывать в которую ему становилось все неприятней. А ведь, казалось, что еще совсем недавно он перечитывал письма от маменьки и собственные записные книжки, получая при этом несказанное удовольствие. До мельчайших подробностей воспроизводил давно минувшие события, мысленно посещал места, в которых уже больше ни-

когда не побывает, переживал чувства отгоревшие и страхи несуществующие вновь и вновь. Однако при этом копилась и недосказанность, незавершенность действий и событий, потому что далеко не все из пережитого можно было описать на бумаге. Многое так и оставалось не у дел, неприкаянно кочуя из одного блокнота в другой, из одной рукописи в другую, чтобы в последний момент быть вычеркнутым, скомканным и изгнанным из памяти.

Деревянная шкатулка, постепенно превратившаяся в захоронение-мощевик и, с которой Александр Иванович никогда не расставался, теперь отвращала. К ней не хотелось прикасаться и уж тем более открывать. Может быть поэтому он никак не мог сесть работать, всякий раз усматривая в этом рутинную обязанность в очередной раз мысленно рыться в старых записках, часть из которых была ложью, выдумкой. Стало быть, он соглашался с этой неправдой, становился ее частью, не хотел открывать уже опубликованные тексты, о которых знал все, но при этом не помнил ничего ровным счетом из того, что было в них написано.

«А может быть, слова вообще не важны?» – спрашивал сам себя.

Прислушивался к звучащему фортепьяно, на котором за стеной музицировала Мария Карловна.

«Вот чистое звучание, в котором нет ни смысла, ни пафоса, только интонация и правильно взятая нота», – разговаривал сам с собой.

Нота тянулась, и вновь нельзя было угадать, что тебя ждет в каждом новом такте.

Однако вскоре музыка начинала раздражать, ведь она могла звучать бесконечно и даже звучала бесконечно, просто не всегда была возможность ее слышать. Она как голос певицы Жозефины приходила неведомо откуда и совершенно порабощала, отвлекала на себе все внимание и не позволяла сосредоточиться.

Тогда Александр Иванович вставал из-за стола, выходил из кабинета и, приоткрыв дверь в гостиную, просил Машу перестать играть на фортепьяно.

Музыка замирала, обрывалась на полуслове, и начатая фраза не была окончена.

Куприн возвращался к себе, но чувствовал, что волнение, причиненное им самому себе этой просьбой, не позволяет ему не то что начать работать, но и даже сесть за стол. Он начинал ходить по кабинету, а перед глазами у него стояло пораженное лицо Марии Карловны, которая смотрела на мужа, как смотрит глухой на что-то говорящего ему человека, но не слышит и не понимает его. Видит только дрожащие губы и широко открытые остекленевшие глаза собеседника.

И правда, губы у Александра Ивановича дрожали от волнения и возмущения.

Глаза его были подслеповато сощурены.

Пальцы левой руки двигались самостоятельно, словно перебирали клавиши или зажимали струны на грифе виолон-

чели.

Выглядел старше своих лет конечно.

Убедился в этом, когда к своей сделал в фотографическом ателье на Невском свой портрет. Тогда долго примерялся, держал голову величаво, так что затекла шея, надувал щеки и выпускал воздух, чтобы длительное время не дышать перед объективном закутанного в черную ткань ящика, не двигался. В результате вышел напыщенным и абсолютно непохожим на себя – каким-то толстым по-кошачьи ухмыляющимся татаринном с висящими что еловый лапник усами и неаккуратно подстриженной бородой.

«Ну и Бог с ним! Пусть так!» – Куприн прятал фотографию в шкаф с книгами в тайной надежде, что забудет со временем, куда ее спрятал.

Когда же наконец успокоился и сел к столу, в кабинет вошла Маша.

С порога она начала говорить быстро, почти скороговоркой, переходящей на крик. Голос ее то поднимался до высоких нот, то падал в глухую хрипящую глубину, раскачивался как смычок, однако выражение лица ее при этом не менялось. Оно оставалось такими же неподвижным, окаменевшим, как в ту минуту, когда Александр Иванович попросил ему не мешать. Сказал это резко, с вызовом, видимо, предполагая, что Мария Карловна была обязана сама догадаться соблюдать в доме полнейшую тишину, когда он работает. Но ведь это именно она уже в течение нескольких недель упра-

шивала его наконец сесть за рукопись и закончить ее, а Саша все никак не мог собраться это сделать. Находил тысячу причин, якобы мешавших ему написать так, как хотелось именно ему, а не ей. Она же, зная его стиль и манеру письма, была готова сама дописать повесть за него, но, узнав об этом, Александр Иванович впал в ярость, изорвал рукопись, разбросал клочья бумаги по всей квартире и ушел из дома.

Вернулся он через несколько дней несчастный, беспомощный, с разбитым лицом, а в дверях встал перед ней на колени и заплакал.

И вот сейчас, когда Маша, выбиваясь из сил, продолжала кричать, Александр Иванович ее не слышал. Склонившись над столом, он что-то судорожно записывал на листе бумаги, водил по нему пером, черкал, снова записывал, иногда в волнении переставлял буквы местами, нависая над только что сочиненными фразами и абзацами. Могло показаться, что он заглядывал в этот лист как в зеркало и видел в нем свое отражение. Всмотривался пристально, подмигивал сам себе и шептал нечто несусветное как полоумный...

Итак, закончив размахивать носовым платком, белый клоун Федерико встает из-за гримерного столика, выключает электрическую рампу над зеркалом и выходит из гримерки.

Он идет по коридору навстречу реву голосов, который доносится с арены цирка Чинизелли.

Сейчас там заканчивается выступление жонглеров Кисс,

и следующей к зрителям выйдет певица Жозефина, которую представит шталмейстер Чарли.

Маленькую Жозефину трудно разглядеть в полумраке центрального входа, она сидит на откидной скамейке под лестницей и курит папиросу.

Ее лицо окутывает облако голубого дыма.

Федерико кланяется этому облаку, и оно отвечает ему покачиванием завихрений, из которых появляются тонкие руки Жозефины. Она двигает ими в такт поклонам, изображая тем самым волны, а также обозначая принятые у дирижеров перед началом пения солиста знаки внимания, дыхания и вступления.

Шталмейстер тут же оказывается рядом с певицей. Он берет ее под руку, приглашает к выходу, балагурит на ходу, и представление начинается.

Александр Иванович давно просил Федерико, с которым познакомился еще в Одессе, пригласить его на цирковую арену во время представления, потому что, по его словам, это было ему необходимо для того чтобы понять, какие именно чувства испытывает коверный, выходя к зрителям.

Кураж? Страх? Воодушевление? Или, напротив, неуверенность? Задавать эти вопросы было банальностью, это нужно было испытать самому.

И вот такой случай представился.

Номер певицы Жозефины заключался в том, что она, обладая даром чтения мыслей на расстоянии, могла их испол-

нить, прекрасно владея оперным репертуаром. Но для этого ей был нужен зритель из зала, и таким зрителем стал пришедший на представление к Чинизелли господин Куприн со своей супругой.

– Вижу, вижу вон того господина в шестом ряду! – завопил осведомленный о просьбе Александра Ивановича рыжий клоун, – прошу немедленно на арену!

Забарахтался господин из шестого ряда, пробираясь по ногам и расталкивая любопытных зрителей, заковылял по крутым ступеням, заторопился неуклюже, ведь он так долго ждал этого приглашения.

– Просим, просим! – не унимался Рыжий, носясь по кругу, прыгая как угорелый и поднимая опилочную пыль.

Оказавшись на арене, Куприн замер на мгновение, видимо, пораженный представшим перед ним зрелищем – слепящими софитами, неровным дыханием зала, обступившей его темнотой, но, придя в себя, тут же почему-то начал кланяться зрителям чуть ли не до земли, чем вызвал взрыв одобрительного хохота.

– Назовите ваше имя, – выкрикнул Рыжий, замерев в комичной позе нетерпеливого ожидания.

– Александр Иванович...

– Уважаемые дамы и господа, сегодня перед вами на арене выступает Александр Иванович, поприветствуем его!

А Куприн все продолжал кланяться как заведенный, нелепо приседая при этом и всплескивая руками.

– Попрошу вас, Александр Иванович, загадать что-либо и не сообщать об этом окружающим, – громко проговорил Федерико. Лицо Куприна сразу же посерьезнело. Автоматически отвесив еще несколько поклонов, он замер и стал искать взглядом Марию Карловну, а когда увидел ее испуганное, едва различимое в полумраке зрительного зала лицо, то вдруг неожиданно закричал:

– Машенька, я тут! Я люблю тебя!

Цирк снова зашелся от хохота.

«Смешной», «да он тоже клоун», «никогда его раньше не видел, видать, на гастроли приехал» – донеслось из первых рядов.

– Итак, вы загадали? – Рыжий наклонился к самому лицу Куприна и бесцеремонно приобнял его за плечи.

– Да, загадал, – кивнул в ответ Александр Иванович.

Он вытянул руки по швам, сжал кулаки и, подав вперед подбородок, выпрямился по стойке «смирно» – пятки вместе, носки врозь, словно вновь оказался на плацу Александровского военного училища.

Федерико взмахнул рукой, и в цирке сразу наступила гробовая тишина.

Один за одним софиты начали постепенно угасать, и когда остался только один, в его свет вошла певица Жозефина. Она сложила руки на груди, повернула голову на три четверти и запела арию Виолетты из «Травиаты»: «Бессмысленны о счастье мечтания, я гибну, как роза от бури дыхания, Бо-

же Всемиловитый услышь мои молитвы и прости все мои безумные заблуждения».

«Решительно невозможно слышать это пение», – Александр Иванович сел на барьер арены и закрыл лицо руками, ведь, как ему казалось, загаданная им мысль была совсем в другом. Она заключалась в том, что отныне он уверен, что обрел счастье с Марией Карловной, однако не знает, счастлива ли Маша с ним, ведь он одержим сочинительством, и потому безумен. А когда он не может писать, то окончательно сходит с ума, поскольку в его голове постоянно звучат слова и голоса, фразы и монологи, но у него нет сил их записать, а голова начинает раскалываться от нечеловеческой боли. Правая рука его опять же коченеет, и тогда он режет ее ножом, кусает до крови, но она остается безжизненной и неподвижной, поскольку не чувствует боли. А левая только и умеет, что выводить каракули.

Наверное, все-таки Мария Карловна несчастлива с ним, если даже прорицательница Жозефина почувствовала бессмысленность мечтания о блаженстве, которое можно называть по-разному – жалостью или любовью, дружбой или духовной связью. Да, она мучается с ним, все более и более жалея себя и переставая жалеть его...

Когда ария Виолетты закончилась, и на арену дали свет, Александра Ивановича на ней уже не было.

Куприна Федерико нашел в своей гримерке.

Александр Иванович сидел на полу, привалившись спи-

ной к стене и что-то записывал в блокноте. Увидев белого клоуна, он начал неловко, опираясь на все, что ему попадало под руки, вставать и одновременно говорить с большим воодушевлением о том, что сегодня наконец он понял, как нужно дописать свою повесть. А ведь последний месяц он не мог к ней приступить, даже хотел сообщить Марии Карловне, что хочет отказаться от публикации в журнале. Но теперь все будет по-другому, и Машенька, конечно, обрадуется, ведь все это время она просила его сесть за работу, а он не мог, все его нутро противилось этому. Увы, но часто эти просьбы заканчивались скандалами и криком.

– Как стыдно, как стыдно, – Александр Иванович продолжал сою попытку подняться с пола.

Федерико бросился помогать ему.

Наконец он с трудом справился с тяжелым Куприным, усадил его на диван, но Александр Иванович тут же завалился на бок, а Федерико едва успел подсунуть ему под голову подушку.

– Какое счастье, что не болит голова, – блаженно улыбаясь, едва слышно проговорил Куприн. Он закрыл глаза, глубоко вздохнул, черты лица его разгладились, и он уснул.

Штабс-капитан Рыбников пропал без вести в районе Гаотулинского перевала в марте 1905 года.

Последним, кто его видел был подпоручик Литке.

По его словам, Алексей Васильевич отправился проверять посты, выставленные накануне по берегам реки, но ни на постах, ни в лагере, ни на опорных позициях он больше не появился.

Искать штабс-капитана отрядили казачий разъезд, который, пройдя вверх по течению Хунхэ почти до отрогов Гаотулинского хребта, вернулся ни с чем.

Рыбников словно сквозь землю провалился. Тогда-то и пошел слух, что он перебежал к японцам, что мол, давно от него слышали разговоры о том, что армия генерала Куроки и лучше вооружена, и более мобильна, и что воевать с ней бессмысленно, только множить потери в живой силе и технике, которая и без того на ладан дышала.

Понятно, что подобные речи Алексей Васильевич произносил, будучи в изрядном подпитии, и на следующий день он уже ничего не помнил. А когда ему напоминали об этих его словах, то штабс-капитан горячился, разводил руками и уверял, что этого просто не могло быть, потому что он боевой русский офицер, и честь для него превыше всего. Даже были случаи, когда он пытался вызвать на дуэль обидчика, но

всякий раз дело заканчивалось примирением, а через некоторое время все повторялось снова.

Уже после Мукденского поражения подпоручик Антон Литке, чудом уцелевший в той мясорубке, лишившийся правой руки и вернувшийся в Петербург, вспоминал, что Рыбников всегда казался ему человеком странным, вызывавшим противоречивые чувства. Мог быть учтивым и дерзким до хамства, вдумчивым и безнадежно глупым, бесконечно пьянствовал, но при этом на поверку постоянно оказывался трезвым. А однажды он спас Литке от верной гибели, когда при отступлении из Порт-Артура их рота попала под обстрел в местности Тигровый хвост. Так в южной Маньчжурии назывался извивающийся среди скальных выступов лог, заросший кривым редколесьем. После полудня второго дня пути пошел густой мокрый снег, и раздерганная цепь, растянувшаяся среди оцепеневших в туманном мареве седловин и напоминавших верблюжьей горбы сопок, потерявшая всяческую череду, окончательно замерла на месте. Остановились лошади, затих скрип колес подвод с ранеными.

И в этой напряженной от безостановочно падающего снега тишине вдруг откуда-то с неба раздался тонкий пронзительный свист летящих мин. Он приближался, множился, сплетался в многозвучие сирены, переходил в одуряющий вой. А вслед за ним загремели первые взрывы, накрывшие голову колонны.

Волна пороховой гари смешалась с тлеющей в воздухе

рваниной, клоками почерневшего снега и обрывками человеческих тел и пошла по низине, предвосхищая хлопки минных разрывов, ложившихся точно по извивающейся полозом линии цепи.

Литке хорошо запомнил страшный вопль Рыбникова – «рассредоточиться!», а еще как Алексей Васильевич схватил его за ворот шинели, дотасил абсолютно не чувствующего себя до ямы, вырытой ветром у подножья огромного валуна, и столкнувшего его в нее. А ближайший взрыв тут же оросил Антона ледяной колючей грязью и чьей-то горячей кровью.

Обстрел закончился так же внезапно, как и начался.

Прекратилась резьба воздуха на куски, и снег по-прежнему безучастно падал вниз, накрывая собой дымящиеся воронки, обгоревшие трупы, обломки санитарных подвод и бьющиеся в агонии лошадиные конечности.

Антон долго лежал так – лицом вниз, ожидая новых залпов, но они не приходили.

Боялся пошевелиться, будто бы от его телодвижений зависит начало новой атаки.

– Живой? – раздалось громко как взрыв.

Литке рывком перевернулся на спину, над ним стоял Рыбников и протягивал ему руку:

– Вставайте! Видимо, не в этот раз...

И вот теперь, когда штабс-капитан исчез, пропал без вести, затерялся в распадках Гаотулинского перевала, а разговоры о том, что он перебежчик, звучали все громче и напо-

ристей, Литке снова и снова и снова извлекал из памяти эпизоды, связанные с этим человеком.

Эпизоды как разрозненные фотографические карточки, из которых нельзя было сложить цельной истории, потому что одни изображения были яркими и четкими, а другие, напротив, размытыми и нерезкими, одни события произошли словно бы вчера, а другие помнились фрагментарно или почти полностью забылись. Алексей Васильевич, разумеется, стоял за всем за этим, но не было никакой возможности подойти к нему близко, ведь он всегда держал дистанцию, примеривая на себя разные маски, играя разные роли.

После того случая в местности Тигровый хвост в южной Маньчжурии его отношение к Антону Литке несколько не изменилось, он словно бы даже и забыл, что невзначай спас его от смерти, столкнув в яму, где огромный, покрытый трещинами и пучками высохшего мха валун закрыл собой подпоручика от минных осколков. Видимо, что все это для Рыбникова было очередным эпизодом, которому он не придал большого значения, частью его жизни, о которой мало что было известно – родом из Оренбурга, служил на Кавказе. Ведь, откровенно говоря, он и сам не знал, почему тогда поступил именно так. Просто увидел этого до смерти перепуганного вчерашнего юнкера, который должен был умереть здесь и сейчас, и подумал, что это будет несправедливо.

Однажды, незадолго до своего исчезновения Алексей Васильевич рассказал Антону, что, когда впервые увидел его у

себя в роте, он ему сразу напомнил одного юного подпоручика, с которым некогда проходил службу в Богом забытом местечке Проскуров.

Звали того подпоручика Александр Куприн.

– Так не тот ли это нынче знаменитый писатель Александр Иванович Куприн?

– Он самый, где-то сейчас в Петербурге, – заулыбался Рыбников и протянул Литке толстую записную книжку, – я-то вряд ли теперь окажусь в столице, а вам туда дорога. Не сочтите за труд найти Сашу и передать ему этот блокнот, он все поймет.

Мелко исписанные страницы набухли, вздулись, неоднократно перевернутые и зачитанные. Их можно было листать, зажав между большим и указательным пальцами, отчего неразборчивый подчерк становился еще более нечитаемым, превращался в поток каракулей, которые словно бы выводили левой рукой. Старательно.

Высунув язык от напряжения и трогая им пересохшие губы.

Склонив голову направо, почти положив ее на плечо.

Высоко задрав локоть, отчего затекало плечо, и левая рука быстро уставала.

Нет, все же правой писать привычнее.

Но случилось и такое, что правая рука коченела, не могла двигаться, и приходилось ее резать ножом, кусать до крови, бранить последними словами, но она все равно оставалась

неподвижной, словно бы ее и не было вообще.

Оказавшись в Петербурге, первое время Антон не выходил из дому.

Он сидел у окна и смотрел на Литейный проспект, по которому шли люди и ехали пролетки. Мелкие копошащиеся фигурки напоминали ему муравьев в своем хаотическом и перепутанном движении. Нечто подобное он уже наблюдал с высоты Чифа под Мукденом, когда по отдельно стоящим домам или скоплению людей выверяли прицел артиллерийские расчеты.

Тяжело ухали далекие разрывы, и сразу весь человеческий вавилон приходил в движение. Равнина, расчерченная траншеями и рядами колючей проволоки, оказывалась под пристальным наблюдением десятков полевых биноклей, что металась с правого фланга на левый и обратно, выискивая огневые точки противника, замирали в руках, предвещая залп, после которого в воздухе надолго повисала клубящаяся, цвета отрубей пыль, сквозь которую неслись переломанные ветки и осколки камней.

Когда же пыль рассеивалась, то от воображаемого муравейника не оставалось и следа. Впрочем, довольно скоро на место паники приходили выверенные движения поредевших колонн, отошедших на заранее подготовленные позиции, а вспышки ответных выстрелов предвещали неизбежное контрнаступление.

Люди бежали, размахивая ружьями, на ходу стреляли, па-

дали, вновь поднимались и устремлялись навстречу верной гибели.

Антон отходит от окна вглубь комнаты, и тогда Литейный затихает.

Выйти на улицу решил в начале мая на Антипасху.

Дыхание сырого холодного ветра несло запахи речной воды, угля, водорослей, наконец оживших после зимней спячки деревьев. Удивился и обрадовался, потому как думал, что отвык от них, хорошо зная теперь лишь зловоние тлеющего мусора, вонь давно не мытых человеческих тел, еще дух пороха ощущая повсеместно.

Сам не заметил, как дошел до Пантелеймоновской церкви, пересек Фонтанку и оказался в Летнем саду. Всю дорогу не поднимал головы, боясь поймать на себе сочувствующие взгляды, лишь смотрел себе под ноги, да косился на пустой правый рукав шинели, накинутой поверх гимнастерки.

В Летнем было пустынно, разве что мраморные изваяния как всегда водили свои хороводы по аллеям и дорожкам сада.

Шелестели складками тяжелой одежды.

Глядели вслед Литке своими глазами, у некоторых из которых не было зрачков.

Нечто подобное уже было в жизни Антона, когда он в поисках кипятка пробирался по санитарному поезду, на котором возвращался в Петербург, и его точно такими же взглядами своих бельм вместо зрачков провожали инвалиды с

обожженными лицами. Ёжился под их взглядами, чувствовал спиной посылаемые вслед его офицерской форме глухие проклятия.

– Ну что, ваше благородие, победили японца? – дергали его за пустой правый рукав, – подайте за Христа ради на пропитание героям Порт-Артура!

Не отвечал и шел дальше.

Слышал, что были случаи, когда офицеров на полном ходу выбрасывали из поезда со словами – «вот и послужил царю-батюшке»...

Весть о том, что Мария Карловна выгнала Куприна из дома, и он снимает в комнату на Казанской улице, быстро облетела город.

Теперь Александра Ивановича можно было довольно часто видеть на ранней, или прогуливающимся по колоннаде Казанского собора без головного убора и в расстегнутом пальто. Многие узнавали его, он сдержанно здоровался, но всем своим видом показывал, что не предрасположен к общению. Вид имел потерянный и одновременно напряженный, будто бы складывал в голове какую-то длинную, на полстраницы фразу, которую следует непременно закончить и не забыть, а записать ее было не на чем, потому что свой блокнот он оставил дома.

Привыкал надеяться только на свою память.

Впрочем, вскоре выяснял, что все придуманное им уже забыто, и когда садился к столу и брал в руки перо, то по-

лучалось уже какое-то совсем другое сочинение, записывая которое, места для жалости о забытом уже не оставалось.

Заложив руки за спину, ходил между колоннами и чувствовал себя в каком-то гигантском сказочном лесу. Ступал тут величаво, как могло показаться со стороны, но на самом деле, шагая именно таким образом, боли и отеки в ногах беспокоили его меньше всего.

На службе был подчеркнута сосредоточен, во время чтения «часов» вставал рядом с царскими вратами, чтобы слышать молитвы, читаемые в алтаре, громко и с выражением пел «Отче наш» и «Верую», а ко кресту прикладывался с умилением и слезами.

В тот вечер домой на Разъезжую Александр Иванович заявился в компании протодиакона Петра Севрюгина, с которым познакомился в питейном заведении недалеко от Николаевского вокзала. Куприн сразу обратил внимание на этого здоровенного детину, который за выпивку на спор брал нижнее басовое до и раскалывал своим гудящим как иерихонская труба голосом стеклянные стаканы.

Разговорились.

Выяснилось, что Севрюгин служит в Павловском соборе в Гатчине, но сейчас временно почислен за штат за грех винопития, к которому он имеет склонность.

Куприн смотрел на него пристально и видел его таким: черные глаза протодиакона грозно смотрели из-под кустистых, будто бы из проволоки сооруженных бровей, борода и

усы развевались, даже когда ветер отсутствовал, а вся фигура его была до такой степени необъятной, что походила на громадный орган-оркестрион, что еще можно было встретить в третьеразрядных трактирах, где они стояли более для украшения убогого интерьера, нежели для музыкальных упражнений.

Да, немало усилий потребуется для того, чтобы закрутить тяжеленные маховики и привести в движение воротило, которое в свою очередь оживит меха, и они, сипя, начнут выпускать воздух, а трубы, устремленные вверх, закачаются под воздействием тяги и устроят переключку, подадут голос механизма, но не в виде скрежета зубчатых шестеренок и шипения приводных ремней, а в виде диковинной мелодии – высокой и звонкой, совершенно не подходящей для этого чудовища. Тут по меньшей мере должны звучать марши, греметь литавры и дудеть тубы.

– Редкий экземпляр человеческий! – повторял Александр Иванович, слушая, как с каждой нотой Севрюгин проваливался все глубже и глубже, как словно бы пробирался в кушах, погружался в преисподнюю, откуда его голос звучал колоколом-благовестником.

Полуночного гостя Мария Карловна встретила неприветливо и сразу в дверях сообщила Куприну, что издательство давно ждет его очередной рукописи, что все сроки прошли, что он обещал сдать рассказ еще на прошлой неделе, но так и не сел за работу.

Все повторилось снова, а тоска и неволя сковали так, что захотелось выть.

Нет, не мог объяснить Маше именно сейчас, когда в голове еще звучал бас протодиакона, что задуманный им рассказ никуда не годится, и писать он его не будет, потому что придумал новый, но время его перенести на бумагу еще не наступило. А для того чтобы за него сесть, ему нужны новые впечатления и новая энергия, которую дает живая жизнь – все эти орудия ломовые извозчики, пьяные дьякона, нищенки в грязных безразмерных салопах и стоптанных чоботах, грузчики и путевые обходчики с Николаевского вокзала, циркачи из Чинизелли. Вот именно они и дают ее, наполняют содержанием обыденные сюжеты и неоднократно описанные коллизии.

Ну как это сейчас было объяснить Маше?

«Никак!» – закричал про себя в отчаянии.

А тут еще Петр Севрюгин запел «Утро туманное».

– Прекратите немедленно этот балаган! – Мария Карловна вытянулась, даже встала на цыпочки, побледнела, совершенно, подбородок ее задрожал, и было видно, что она находится в истерическом состоянии.

– Машенька, прости меня, – Александр Иванович опустился перед ней на колени, даже прополз таким образом несколько шагов навстречу жене.

Однако протодиакон не унимался:

Вспомнишь обильные страстные речи,

Взгляды, так нежно и жадно ловимые...

– Довольно! – проговорила Мария Карловна, не разжимая зубов, – убирайтесь вон! Оба!

Пение тут же оборвалось.

Себрягин попятился к двери, которую еще не успели закрыть, бормоча при этом «помилуй, матушка, за Христа ради помилуй».

– Машенька, ты прогоняешь меня? – в другой раз после подобного вопроса Куприн бы обязательно заплакал, вцепился бы в руку Марии Карловны и не отпустил ее до тех пор, пока она не простила бы его и не взяла свои слова обратно, но сейчас перед Машей стоял другой Александр Иванович.

Резко и довольно молодцевато он поднялся с колен.

Запахнул пальто.

Нахлобучил шапку и стал похож на лихача с Невского – наглого, надменного, словно сошедшего с фотографической карточки, где-то спрятанной среди книг, толстого по-кошачьи ухмыляющегося татарина с висящими что еловый лапник усами и неаккуратно подстриженной бородой.

Подбоченился.

Такой бы вполне мог не то что ударить Марию Карловну, но и задушить ее своими огромными как у кузнеца лапщами, чтобы раз и навсегда прекратить эту ежедневную муку, когда надо постоянно выслушивать замечания и просьбы, жалобы и требования. Ведь так и не смог научиться у Любови Алексеевны унижаться и идти на попятную, убеждать

себя в том, что истина постижима только через смирение.

Сдержался, однако.

Зарычал, но тут же и засмеялся громко, развязно.

– Прощайте, Мария Карловна, – прихлопнул ладонью шапку сверху, так что она сползла на самые глаза, и вышел на лестничную площадку, где на ступенях уже спал протоиерей-афонитин Семенов и трубно храпел.

Трубы органа-оркестриона раскачивались в такт его храпу.

Ангел вострубил.

А ведь еще когда они жили во Вдовьем доме, маменька рассказывала маленькому Саше о том, что конец света наступит, когда заговорят животные и вострубит ангел.

И вот теперь он бродил в огромном сказочном лесу, слушал голоса птиц и животных, некоторые из которых выглядывали из-за колонн и с любопытством наблюдали за Александром Ивановичем.

А ведь в любую минуту кто-то из лютых хищников мог наброситься на него и растерзать.

Поеживался от страха, разумеется, как тогда в Зоологическом саду на Кудринской в Москве.

Ходил здесь, останавливался, присаживался на стилобат ближайшей к нему колонны, оглядывался по сторонам и, удостоверившись, что он в лесу один, начинал что-то записывать, не решаясь однако поднять голову вверх, потому как в этом случае он бы мог увидеть высокий сводчатый потолок

портика, и понимание того, что это колоннада, а вовсе не чаща никакая, разочаровало бы его совершенно.

Дремучий лес.

Загадочный лес.

Чаща.

Во время одной из таких прогулок по колоннаде Казанского собора к Куприну подошел молодой подпоручик.

Правый рукав его гимнастерки был заправлен за пояс.

Отрекомендовался – Антон Сергеевич Литке.

– Уж простите, Александр Иванович, за вторжение. Знающие люди мне указали на вас и сказали, что вы Куприн.

– Так точно, поручик Куприн.

– Хочу передать вам от штабс-капитана Рыбникова этот блокнот, – Литке протянул записную книжку, при виде которой Александр Иванович оторопел полностью, побледнел, глаза его округлились. Он даже сделал несколько шагов назад, растерянно всплеснул руками и принялся, тряся головой, повторять вполголоса «не может быть, этого просто не может быть».

– Берите, Александр Иванович, Алексей Васильевич Рыбников меня уверил, что вы все поймете.

– Конечно-конечно, благодарю вас, – Куприн схватил блокнот и принялся его жадно листать, улыбаясь при этом, вчитываясь в пожелтевшие от времени страницы, даже нюхая некоторые из них.

– Это они, они! Я их чувствую!

– Разрешите откланяться, Александр Иванович?

– Нет-нет, постойте, – глухо, словно выходя из забытья, наконец проговорил Куприн, – не уходите, расскажите, как там Рыбников? Вы же воевали? Я вижу...

– Так точно, воевал, под Мукденом был ранен.

Суетливо запихнув блокнот в карман пальто, Куприн схватил Антона за левую руку, приглашая пройти по колоннаде. И тут же, сам, не понимая зачем, он начал рассказывать подпоручику о том, что его выгнала из дома жена, что теперь он живет один и много пишет, что ему очень горько и одиноко, но, как ни странно, это состояние нравится ему, потому что он чувствует себя никому не нужным, а, стало быть, свободным.

– Вот, извольте видеть, посещаю храм, много молюсь, даже истово порой, это, знаете ли, успокаивает нервы и дисциплинирует. Впрочем, простите меня за мою многословность, хочется выговориться...

А потом говорил Антон.

Узнав о том, что Рыбников пропал без вести, Александр Иванович почему-то хитро усмехнулся:

– Не удивлен.

– Вот как! Почему же?

– Он всегда мне казался человеком закрытым, со многими лицами, от него можно было ждать чего угодно. Даже как-то стрелялся с ним, хотя мы назывались друзьями.

– Стрелялись?

– Да. Помню, мы отмечали мое двадцатилетие в каком-то заведении в Проскурове, там стоял наш полк. Разумеется, выпивали. В какой-то момент разговор, что и понятно, зашел о женщинах. Была упомянута одна известная мне особа, о которой штабс-капитан отозвался крайне нелицеприятно. Я попросил господина Рыбникова немедленно извиниться, на что он, смеясь, заявил, что если бы речь шла о достойных замужних дамах, он бы, безусловно, принес свои извинения, но так как речь шла об обычной проститутке, то брать свои слова обратно он не намерен. Я вспылil. В завязавшейся потасовке, уж не помню, как это вышло, я оторвал погон на правом плече штабс-капитана, за что он вызвал меня на дуэль на пистолетах.

Стреляться поехали за город, в Березуйский овраг, как сейчас помню.

Нам предложили помириться, но штабс-капитан отказался.

А потом прозвучала команда «сходитесь».

Не сделав ни единого шага навстречу сопернику, я поднял револьвер и сразу выстрелил.

Одновременно раздался и выстрел Рыбникова.

Как изволите видеть, мы оба тогда промахнулись.

– А что было потом?

– А потом примирились, конечно, хотя от своих слов штабс-капитан так и не отказался, хотя... – Куприн вновь извлек из кармана записную книжку, видимо, так и не веря

до конца, что снова держит ее в руках.

– Честь имею, Александр Иванович, – Литке поклонился, сбежал на лестнице вниз и, не оборачиваясь, быстро пошел в сторону Невского.

Еще какое-то время Куприн смотрел Антону вслед, вспоминая подробности того безумного поединка в овраге, а еще Клотильду вспоминая, то утро, когда обнаружил, что блокнот пропал, портрет государя на стене в канцелярии.

Даже голова закружилась от этих видений, увлекшись которыми Куприн не заметил, как Литке затерялся в толпе, наводнившей проспект и с высоты колоннады Казанского собора напоминавшей бурную, вихляющую протоку во время весеннего половодья.

Придя домой, не раздеваясь, Александр Иванович сел к столу, положил перед собой блокнот, раскрыл его, перелистал несколько раз, останавливаясь на некоторых страницах и делая в них закладки, затем захлопнул его и принялся писать.

Звучание было найдено сразу и безошибочно, и он не боялся его потерять. Вставал из-за стола, сбрасывал с себя пальто, даже что-то напевал себе под нос, а потом вновь склонялся над исписанными листами бумаги, комкал неудачные абзацы, смеялся над иными фразами, находя их точными, а потом все это складывал воедино и получал абсолютно новый текст, о возможности существования которого он не мог предположить еще несколько часов назад.

Конечно, не мог не признаться себе в том, что все эти годы он писал об одном и том же, что это было бесконечное осмысление собственных поступков и событий, в которых он волею случая принимал участие, а еще это было изображение людей, оказавшихся рядом в разные периоды его жизни.

Однако постепенно все это сжималось в одну-единственную вереницу остановившегося времени, из которой уже было невозможно изъять те или иные события, не нарушив многолетних связей и устоявшихся смыслов.

Смысл этого признания был открыт только самому Александру Ивановичу, потому что остальные были уверены в том, что он есть автор разнообразных сочинений, абсолютно непохожих друг на друга. Просто всякий раз он мучительно выискивал новую интонацию, а тема или сюжет приходили сами, когда вдруг отзывался тот самый внутренний орган-оркестрион.

Итак, покраснев от натуги, ангел надувал щеки и дудел, что есть мочи, а ревун несся над Невой и Васильевским островом.

Под утро Куприн дописал рассказ.

Он открыл шкатулку, положил в нее привезенный Литке блокнот и закрыл ее на ключ, который всегда носил на цепочке вместе с нательным крестом.

Рассказ начинался с весьма подробного описания казни душегуба Анисимова.

Далее шла предыстория. Из нее следовало, что после долгих поисков его находят в Москве, в Марьиной Роще, где он под именем Василия Золотова скрывается в ночлежном доме, что у Нечаянной радости.

Анисимова выдает его любовница, которая доносит на него в полицейский участок за то, что он угрожал ее зарезать. Когда разбойника задерживают и препровождают в Бутырку, то выясняется, что никакой он не Золотов на самом деле, а Анисимов, которого уже давно разыскивают за убийство, совершенное им в Пензенской губернии.

После допроса с пристрастием, учиненного ему следователем Уксусовым, он признается, что в припадке ярости задушил коллежского регистратора Ивана Ивановича Куприна, у которого хотел выведать, где хранятся деньги городского мирового съезда.

Судебное разбирательство длится недолго, и в результате Анисимова приговаривают к смертной казни через повешение и приводят приговор в исполнение в Пугачевской башне тюремного замка.

Свидетелем этого становится ротмистр Филиппов. На него казнь осужденного производит гнетущее впечатление,

ведь Анисимов уверяет, что раскаялся совершенно, умоляет его пощадить, говорит, что болен, и с ним даже случается эпилептический припадок, но правосудие неумолимо.

После произошедшего Филиппов направляется в трактир. Он возбужден, перед глазами у него по-прежнему стоит сцена казни, припадок жертвы и ее судороги в петле. Здесь он принимает решение разыскать женщину, которая выдала Анисимова, чтобы самому разобраться и в этой истории, и в собственных чувствах.

Об этой женщине он знает только, что зовут ее Мария, и что живет она в Марьиной Роще.

Прочитав рассказ Александра Ивановича, доставленный с посыльным, Мария Карловна согласилась его напечатать, но с условием, что имя героини будет заменено на другое – «Катерина, например, или Лизавета». О чем и написала Куприну в письме, потому как теперь они общались именно такими образом.

Однако Александр Иванович ответил категорическим отказом и сообщил, что в таком случае передаст рассказ в другое издательство.

Единственное, на что он был согласен, так это подписать рассказ не своими именем, а псевдонимом.

Куприн вновь и вновь перечитывал текст и как никогда был уверен в правильности и выверенности каждой фразы, каждого имени героев, потому что все описанное он пережил вместе с ними, а причудливое переплетение событий было

вовсе не выдумкой, но результатом переосмысления многих эпизодов, из которых и складывалась его жизнь.

Он совершенно не умел излагать историю последовательно и размеренно, но более доверял непредсказуемым своим поворотам фантазии и мысли, что на первый взгляд выглядело чистым безумием. Однако, когда сочинение завершалось, и он ставил в нем последнюю точку, картина вдруг оживала и представала в таких ярких красках, раскрывала перед читателем такие неожиданные виды, о которых и сам Александр Иванович не предполагал, когда создавал их.

Ведь начиная свой рассказ, он и не мог предположить, что его ротмистр Филиппов – человек впечатлительный и робкий, превратится в мстительного и расчетливого резонера, который, убьет Машу, и сам окажется в Бутырском тюремном замке.

«Совершенно невысказанная трансформация! Его словно подменили!» – восклицал писатель, хватался за голову, но при этом понимал, что описывает самого себя, что, оказавшись он на месте ротмистра, поступил бы точно так же, ведь давно знал за собой эту особенность – передумывать сотни вариантов, но выбирать из них самые омерзительные и уродливые, когда герой вынужден совершать поступок, о котором он раньше и помыслить не мог.

А ведь это и есть «наблюдение страстей человеческих», – так, кажется, ответил однажды старику в высоких болотных сапогах, старого фасона драповом пальто и неновой потер-

той шляпе.

Любое исправление выглядело бы в подобного рода сочинении насилием, когда следовало убеждать себя в том, что изменение возможно и даже желательно, но при этом невыносимая тоска охватывала от мысли о том, что изначально найденное звучание будет нарушено и в партитуре появятся фальшивые ноты, которые будут скрежетать, нарушая гармонию.

Александр Иванович поспешно выходил из подъезда, почти бегом пересекал двор и, оказавшись на улице, направлялся в сторону набережной Екатерининского канала.

Здесь искал спуск к воде, находил его вскоре, сбегал по гранитным ступеням, замирал на месте, жадно смотрел на воду, словно пил ее огромными глотками, наклонялся к ней, черпал ладонью и умывал лицо. А затем вновь устремлялся вперед, прекрасно понимая, что сейчас впервые он сам может решить судьбу собственной рукописи, что за него, как раньше, это не сделает Мария Карловна. Понимание того, что в таком случае их разрыв станет окончательным приходило постепенно, но, как ни странно, не страшило его.

«Значит, тому быть, так предопределено» – настойчиво вертелось у него в голове.

Искал в эту минуту внутри себя спасительную жалость к самому себе и к Маше, но не находил ее.

Неужели она ушла?

Неужели его сердце до такой степени ожесточилось, что

отныне он не способен любить, совершенно истратив это чувство на бумаге, описав его полностью и тем самым исчерпав безвозвратно, раздав своим персонажам, ни оставив его ни себе, ни Марии Карловне?

– И да, и нет! – вдруг закричал истошно и пригрозил себе пальцем, но тут же сжался внутренне, втянул голову в плечи, испугался, что его заметят и сочтут умалишенным. Стал воровато оглядываться по сторонам, понимая, что он разговаривает сам с собой.

Громко.

Истерично разговаривает.

Чувствуя на лице гнилостный запах воды.

Александр Иванович тщательно вытерся рукавом и, убедившись, что он на набережной один, теперь уже медленно, приволакивая правую ногу, особо беспокоившую его в последнее время, пошел в сторону Воскресенского собора...

Убедившись в том, что его никто не преследует, ровно к двенадцати часам дня Игнатий Иоахимович свернул с Невского на набережную Екатерининского канала. Тут было многолюдно и весьма оживленно – по тротуарам бежали лотошники, проехало несколько конных жандармов, крича и размахивая руками, шла толпа студентов, дворники уныло сгребали снег и переругивались.

Воспользовавшись этой неразберихой и суетой, Игнатий Иоахимович, никем не замеченный, влился в толпу, которая, впрочем, была неожиданно оттеснена казаками из Терско-

го эскадрона собственного Его Императорского Величества конвоя. Раздались крики, свист лошадиный храп, и со стороны Михайловского дворца на набережную вылетела бронированная карета императора.

Толпа охнула и затихла, буровя взглядами обшитый стальными листами кузов.

Однако тишина эта оказалась недолговечной – волнами расходящийся хлопок от взрыва порохового заряда накрыл облаком едкого дыма чугунную балюстраду и въехавшего в это гиблое марево государя.

Раздались истерические женские вопли, детский плач, но Игнатий Иоахимович уже не слышал и не видел всего этого.

Оттолкнув двух стоявших перед ним студентов, он почти сразу оказался за пределами оцепления казачьего конвоя, который после прозвучавшего взрыва дрогнул и рассыпался.

Коротко подумал о том, что именно в этой суете, в этой кровавой неразберихе нет времени, оно остановилось, его не существует, или может быть оно даже потекло вспять, и все, что ты сейчас сделаешь можно будет исправить, точнее, трактовать как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». Например, убить себя или убить остальной мир, взорвать императора или спасти тысячи несчастных от нечеловеческих мучений, увидеть себя в детстве или в старости на краю могилы.

Даже усмехнулся по поводу последнего соображения.

Впрочем, нет! Не до подобного рода рассуждений было

сейчас, не до их развития и анализа, все двигалось перед глазами медленно и неотвратно, и было данностью.

Игнатий Иоахимович старался не смотреть на мертвого мальчика, что выбежал из расположенной неподалеку мясной лавки посмотреть на царский поезд, и был убит наповал осколком, на лежащего в луже крови казака из конвоя, на вопящую женщину в разорванной шубе. Все остановилось, замерло на мгновение, превратившись в часть небытия, и стало ясно, что уже ничего нельзя исправить.

Теперь же Игнатий Иоахимович видел перед собой лишь одного человека, выходящего из клубов дыма, бледного, с ледяным неподвижным взглядом, но при этом не потерявшего самообладания и царственной стати. Расстояние между ними быстро сокращалось, и когда составило не более десяти шагов, их взгляды встретились.

Всё движение, вся суета, истошные вопли, ругань, ржание лошадей, даже смерть уже ничего не значили, потому что лицом к лицу сошлись два человека, прожившие ради этой последней их встречи целую жизнь. Да, эти жизни были разной длины и разного содержания, исполнены разной веры и разных традиций, но именно здесь, на набережной Екатерининского канала им было суждено завершиться на глазах у десятков остолбеневших от ужаса происходящего людей.

– Что вам угодно? – громко и почти по складам произнес Александр Николаевич.

Не ожидая того, что император заговорит с ним, Игнатий

Иоахимович опешил, судорога свела правую половину его лица, а грохот крови в голове оглушил и на какое-то мгновение почти лишил его возможности говорить.

– Что же вы молчите, черт побери? – царь продолжал наступать на своего визави.

Краем глаза Игнатий Иоахимович видел, как к нему уже бегут жандармы, а один из них на ходу расстегивает кобурку, а еще он увидел, как толпа, едва сдерживаемая казаками, превратилась в черную, шевелящуюся, ревушую массу, где нельзя было разобрать ни лиц, ни отдельных голосов, разве что молодая женщина в черном приталенном пальто и платке выделялась на этом диком и бесформенно фоне. Она поднесла указательный палец к губам, как бы запирая их, и отрицательно покачала головой. Это была Елена Григорьевна.

– Я хотел сказать...

– Что же? – Александр Николаевич был уже почти на расстоянии вытянутой руки.

– Что любви нет, ваше императорское величество, – проговорил Игнатий Иоахимович, поднял над головой небольшого размера коробку, обклеенную почтовой бумагой и запечатанную по углам сургучом, и бросил ее под ноги царя...

В Воскресенском соборе только что отошла утренняя.

У сени на месте смертельного ранения государя похожий на Льва Толстого протоирей с иззелена седыми волосами и струящейся бородой, заплетенной в косицы, служил панихиду.

Александр Иванович подошел, прислушался, тропари за упокой звучали монотонно и усыпляюще, как гулкий шелестящий звук шагов, плавали по воздуху, поднимались к потолку.

Поднял глаза к потолку вслед за ними, но голова тут же и закружилась от многообразия яркого узорочья.

Еле удержался на ногах, которые словно бы пудовыми цепями были прикованы к мраморному полу, потому что сами уже не могли стоять от постоянно ноющей боли, к которой Александр Иванович привык.

С трудом, почти не чувствуя правой ступни, добрал до церковной лавки, где купил лампадное масло, сел на приступку и тут же принялся растирать им распухшие щиколотки.

– Благодатное масло, батюшка вы мой, целебное...

Куприн оглянулся – в лицо к нему заглядывала блаженно улыбающаяся старуха-попрошайка в плешивой кацавейке и плетеных из бересты чоботах.

Голос у нее был сиплый и глухой как у Марии Карловны.

Целую неделю после ухода Александра Ивановича Маша еще была уверена, что он вернется. Всю эту неделю она ждала его. Ведь такое уже случалось и не раз, когда он уходил, но потом возвращался, просил прощение, вставал перед ней на колени, его становилось жалко, и она целовала его стриженную как у питомца сиротского приюта круглую голову, а потом все продолжалось по-старому.

Однако, после того как Мария Карловна получила от Куприна конверт с только что написанным рассказом, который она читала в слезах, стало ясно, что это конец, и что Саша не вернется.

Она написала ему, он ответил резко и надменно.

И тогда с ней случился неврастенический приступ.

Маша кричала, что никогда не простит ему его неблагодарности, потому что это она сделала его литератором, это она заставила его писать, это она редактировала и публиковала сочинения этого безумного пензенского пьяницы, который перед ней – дочерью самих Геси Гельфман и Николая Колодкевича – ничтожество и бездарный провинциал, который не любит никого, кроме себя и своей такой же, как и он, безумной маменьки, чьи письма он хранит в деревянной шкатулке и не расстаётся с ней, даже когда они ложатся спать.

Кричала это стенам, книжным шкафам, закрытому окну, а потом, когда припадок затихал, падала без сил на кровать лицом в подушку и начинала задыхаться, покрывалась испариной, судорожно сжав в кулаках углы простыни.

Может быть она еще хотела бы что-то прокричать в адрес Куприна, еще в чем-то его обвинить, сказать, наконец, что больше не любит его, но ненавидит, однако охрипла совершенно и с трудом могла говорить шёпотом, корчась от острой боли в горле.

– Особенно сие масло помогает, ежели оно проистекло от

образов Спасителя или Николая Угодника Божия, – только и успела просипеть, как тут же Александр Иванович оттолкнул от себя кацавейку и вышел на набережную.

– Хватит! Довольно! – строго, с интонацией Любви Алексеевны произнес Куприн, – да и ноги у меня уже не болят, подействовало масло, однако...

Через некоторое время после этого происшествия он получил от маменьки письмо, в котором она сообщила, что ей снова явился Иван Иванович и позвал ее к себе. «Приходи ко мне, Любушка», – изрек он, – «будем вместе куковать». Так и сказал «куковать». Был при этом ласков и тих, улыбался и манил к себе рукой.

От этого видения Любовь Алексеевна впала в глубокую задумчивость, целыми днями она лежала на кровати, отвернувшись к стене, пытаясь уяснить, что означает это его слово «куковать».

Мыслилось, словно бы Иван Иванович сидел на каком-то необыкновенном каштане, возраст которого насчитывал несколько веков, и приглашал ее сесть рядом с собой, чтобы они вместе стали качаться на ветке и поплевывать вниз.

Но с другой стороны, для благородного и почтенного Куприна-старшего эта затея была слишком беспечной и даже в своем роде мальчишеской. Наверное, все-таки Иван Иванович имел в виду что-то другое, более серьезное и возвышенное. Например, «куковать» – значит отдыхать от земных за-

бот и наслаждаться райскими кущами.

Поселиться среди птиц, которые не сеют и не жнут, но каждый день имеют пищу от Господа.

Проводить время в душеполезных беседах.

Одиночествовать наконец.

Она даже спросила свою соседку по комнате Марию Леонтьевну Сургучёву, что может означать слово «куковать», но ничего вразумительного от нее не добилаься.

В конце своего послания к сыну Любовь Алексеевна также написала о том, что перед тем как уйти и оставить ее одну наедине со своими думами, сомнениями и страхами Иван Иванович известил о том, что ее прошение о начале розыска душегуба и разбойника Анисимова наконец рассмотрено и на него наложена положительная резолюция.

Прочитав это письмо, Александр Иванович, разумеется, тут же бросился на Николаевский вокзал, но, приехав в Москву на Кудринскую, обнаружил маменьку в полном здравии.

Выяснилось, что видение покойника ей было уже давно, и только теперь у нее дошли руки сообщить об этом сыну.

Почувствовал себя обманутым, да и вообще подумал о том, что все это маменька придумала, чтобы вызвать его к себе в Москву такими образом.

Сейчас Саша смотрит на Любовь Алексеевну и видит, как она пеленает ноги стираными-перестираными марлевыми бинтами, которые сушит на батарее парового отопления.

Затем переводит взгляд на ее соседку по фамилии Сургучёва. Мария Леонтьевна, скрутив из накрахмаленного угла простыни трубочку наподобие папиросы, запихивает ее себе поочередно то в левую, то в правую ноздрю, как будто бы потчует себя нюхательным табаком, чихает от души.

И Саша вдруг понимает, что написанный им рассказ, который он считал своим лучшим произведением, абсолютно ничего не значит. Что все прожитое и описанное им, не имеет никакого отношения к той жизни, которую он видит перед собой сейчас. Конечно, сохранил о Вдовьем доме детские воспоминания, но реальность выглядит совсем по-другому, и чтобы ее изобразить, нужно в нее погрузиться, вновь вдохнуть давно забытые запахи, вновь привязать себя за ногу к кровати и так лежать, накрывшись тюфяком с головой.

Тихо в этой норе, как во чреве кита, куда пророка Иону за неповиновение заточил Бог.

Вспоминает в этой тишине рассказ Сережи Уточкина о том, как он, спрятавшись в кабинете отца под столом, стал невольным свидетелем вынесения смертного приговора своему родителю.

Вот и сейчас Любовь Алексеевна рассказывает Сургучёвой о том, что убийцу ее мужа Анисимова приговорили к смертной казни через повешение и привели приговор в исполнение в Бутырской тюрьме. Слышно, как она листает страницы книги, где об этом написано, и читает вслух описание гибели душегуба. Она наслаждается сценами унижения

Анисимова, его эпилептического припадка и агонии.

Саше становится страшно, потому что он понимает, что маменька читает его рассказ, опубликованный под псевдонимом.

Закончив чтение, Любовь Алексеевна сообщает, что в целом рассказ ей не понравился, потому что ей стало жалко и главную героиню Машу, и ротмистра Филиппова, ведь он так похож на ее сына, а этого быть не должно. Жалеть, как и любить надо всегда кого-то одного. Покашливает. Слышно, как Сургучёва соглашается с ней и говорит, что вот она, например, всегда любила и жалела только своего супруга-покойника Павла Дмитриевича, хотя и был он человеком тяжелого характера, страдал от гипертонии и умер от апоплексического удара.

– Да что же вы такое говорите, матушка моя? – восклицает Любовь Куприна, – все о покойниках, да о покойниках! Мой Сашенька, слава Богу, жив и здоров.

В ответ Сургучёва начинает обиженно ворчать...

Вернувшись в Петербург, Александр Иванович сразу приступил к написанию новой повести, однако вскоре бросил, поняв, что уже писал об этом, что, в очередной раз открывая шкатулку и перечитывая старые записные книжки и письма маменьки, он ходит по замкнутому кругу, не имея сил вышагнуть из него, из раз и навсегда сложившейся истории, звучание которой он уже нашел однажды.

Да, когда-то наслаждался этой музыкой, но теперь она ста-

ла невыносимой, и потому он открывает дверь в комнату, где музицирует Мария Карловна, и просит ее прекратить играть на фортепьяно.

Александр Иванович открывает окно, снимает с цепочки ключ от шкапулки, размахивается и бросает его.

Ключ летит над городом.

Планирует.

Ключ достигает воды и врезается в ее толщу, оставляя на поверхности пузырящуюся воронку, которая засасывает в себя вихляющую ноту всплеска – как каркающий глоток, как кнаклаут, как щелчок задвижки, как удар по стеклу указательным пальцем правой руки.

И сразу уходит ко дну, где зарывается в ил, а густая непроглядная толща смыкается над ним.

Нет, теперь его во век не сыскать, будет себе перемещаться по воле течения, покрываясь илом и ржавчиной. Может быть даже, и до моря таким образом доберется, где все дно усеяно такими же выброшенными ключами...